
Георгий ПАНКРАТОВ

СКРИПКА

Рассказ

Старик долго ждал того дня, когда просто пойдет дождь. Во все окна летел песок, и когда бы он ни открыл их, мелкие песчинки засыпали подоконник, спешили в холодную кровать, на рваные тряпки, служившие постельными принадлежностями, старые газеты, в неприличном количестве скопившиеся на прикроватной тумбочке, и фотографию, все время норовившую завалиться набок. Счастливые глаза немолодых, но крепких, исполненных жизненных планов людей смотрели на полусгоревшую розетку, куда-то в бездну ее черных внутренностей. Старику становилось не по себе в такие моменты, вздыхая и охая, он направлялся к тумбочке и поправлял упавшее фото. В их доме было много пыли, но фотография всегда блестела, в стекле, защищавшем от внешнего мира их ставшее кадром счастье, отражались свет люстры, солнце и пристальные, редко мигающие и словно удивленные глаза жены, когда она подолгу смотрела на запечатленный момент прежней, когда-то бывшей реальностью жизни. Куда она торопилась, куда мчалась та жизнь? В эту постель, в летний песок сквозь окно, в растрепанные ветром муниципальные газеты. Старик протирал рамку тряпкой, лежавшей тут же, на тумбочке или — в те дни, когда не подводи́ла память — аккуратно положенной в верхний ящик.

— Закрой, — просила жена, и слабая рука ее делала неопределенный жест, указывая то в направлении окна, то куда-то в сторону потолка. Она практически постоянно лежала, хотя ее не мучили болезни, столь свойственные пожилому возрасту, и лишаящие людей радости ходьбы. Ходить она могла, но радости это не доставляло.

Заунывное лето никак не заканчивалось. Лето было для молодых, а в отношении молодости, цветущей вокруг, у старика не было никаких иллюзий. Вопреки распространенному среди подростков заблуждению, он не ненавидел молодость, не терзался завистью, не томился бессилием повернуть свою жизнь вспять. «Я и сейчас не ближе к смерти, чем они, — говорил он, кашляя, приходившему его навестить журналисту. — Любого человека отделяет от смерти секунда, и с этой секундой в запасе бродит всякий живущий своими тропами». После таких слов он умолкал и неизбежно смотрел впереди себя, не в глаза собеседника и даже не на него вовсе, от чего тому становилось не по себе. Молодость была, как было и все остальное, и все жило в равных условиях на Земле.

Георгий Панкратов — писатель, публицист. Родился в Санкт-Петербурге в ... году. Публикации: «Волга—XXI век» (Саратов), «Кольцо А» (Москва), «Иные берега» (Хельсинки, Финляндия), «Интеллигент—Москва» (Москва), «Эрфольг» (Москва), «Наше поколение» (Кишинев, Молдавия), «Нижний Новгород», «Литтегатура» (Москва), «Первая роса» (Ульяновск), «Пегас» (Санкт-Петербург), «Второй Петербург» (Санкт-Петербург), «Русская жизнь», «Новая реальность», «Литературно-философский журнал „Топос“», «Ликбез», «45-я параллель». Участник проекта «Дневник поколения» издательства «Вече» (2014). Участник полуфинала премии «45-й калибр», сезон 2013–2014. В настоящее время живет в Москве и Севастополе.

— В этом и есть справедливость мира, — говорил он журналисту, чем вызывал отчаянный пьяный смех того. Журналист Аркадий Вепрь, странный знакомый старика, был алкоголиком отпетым, его профессия приучила к мысли, что справедливости в мире нет, и более того — именно поэтому, а может, и поэтому только — мир по-своему справедлив. По крайней мере, он любил объяснять это профессией, возможно, оттого что так ему представлялась «отдача» от профессии журналиста еще в незрелые годы. Каких-то вершин в профессии Аркадий достичь не сумел и в свои сорок неожиданно понял, что вернулся к тому, с чего начинал когда-то, мечтая достигнуть космических высот. Он не бывал под пулями, не раскапывал секретных дел, не делал сенсационных снимков звезд, да и обычные интервью с ними брал редко. Поработал в паре городских газет, журналах о музыке и авангардном искусстве, какое-то время был главным редактором сайта. Но время шло, и статьи, переписываемые из других источников, чьих-то блогов, или просто собственные впечатления от жизни, которые он гордо именовал публицистикой, обесценились даже в его собственных глазах. Редакторы же выбирали молодых и энергичных, благо недостатка в таких кандидатах нет. Теперь Аркадий с переменным успехом боролся с энергичными на сайтах фриланса, периодически отхватывая заказы от PR-агентств и специализированных журналов. Впереди маячила пустота, и общение со стариком хоть как-то сглаживало внутренний страх: во-первых, у старика пустота уже наступила, а у него еще нет. Но это слабо согревало душу. Скорее, глядя на пустоту старика, он готовился к собственной, примирился с ней, узнавал, чего ему ждать.

Старик — а звали его Семен Иванович Французов — относился к своему приятелю скептически. Его не покидало ощущение, что зрелости журналист так и не достиг, и, встречаясь с ним, он всякий раз испытывал некоторую брезгливость. Попытался побороть ее, понимая, что это единственный друг. Но не мог.

Жена его, Нина Валентиновна, журналиста не любила тоже. Но терпела, и вовсе не оттого, что старик мог — условно, но все же — назвать его другом. Лишенная общения, гостей, подруг, приятелей — всего того, что делало яркими прежние годы, она видела в не самом приятном ей госте единственное зеркало, в котором отражалась их старческая жизнь. Не будь журналиста, их не существовало бы — о них никому было бы знать, говорить, вспоминать — и вся та любовь, что она пронесла через жизнь, строя маленькое счастье, осталась бы незаметной. Она, посвятившая жизнь одному человеку, хотела, чтоб об этом знали, увидели, что она смогла, что она не зря когда-то так решила и ни разу не отказалась, не пожалела о своем решении. Этот итог — их бедное и не самое яркое существование на закате жизни — все-таки был счастьем. Все тяготы и невзгоды так и не отучили их говорить: «Я люблю тебя», выходя из ванны, засыпая вместе, выполняя незатейливую и несложную просьбу другого. Остальное было скучно, других достижений не было, но быть до конца вместе — это цель, которую они поставили когда-то и которую сумели выполнить. Семен Иванович был доволен: его спокойствие и достоинство, с которым он часами смотрел во двор, провожая жизнь, на том и держалось, что он добился всего, чего захотел, а большего и не надо — он сделал ее счастливой. Правда и то, что он совсем не нуждался в «зеркале», в том, чтобы кто-то оценил, увидел, как они живут вместе. Людей, которые не интересовались его жизнью, он оставил в стародавние времена, они стерлись из памяти, ни имен их, ни лиц, ни голосов от них не осталось. Старик знал, что никто не интересуется человека, кроме самого себя. И строил свое счастье без оглядки на тех, кто даже не слушал, что он отвечает на вопрос «Как дела?».

Нина Валентиновна подолгу смотрела на старика и улыбалась. Он источал спокойствие и уверенность, несмотря на больной вид. Казалось, его ничто не тревожи-

ло, ничто не могло задеть и побеспокоить. И действительно, все обстояло именно так. Впрочем, одна гнетущая мысль с некоторых пор поселилась в голове Семена Ивановича и, всплывая из мутных вод бытовых повседневных мыслей, заставляла его мрачнеть. Его беспокоила смерть — но не тем первичным страхом, заложенным в каждого человека, — мол, все умрут, и не тем, какой смертью умрет он сам — по дороге к дивану или в очереди за молоком. Он терзался: кто уйдет раньше: он или Нина. И в редкие моменты разговора с Богом старик просил, чтобы она умерла раньше. Чтобы умерла счастливой, окруженная его заботой и скромным, на какое он способен, вниманием. Чтобы ей не было страшно оставаться одной. «Она падает и подолгу не может встать, — объяснял он Богу, — и порой забывает, зачем куда-то направлялась, хотя только на сборы тратила пару часов». Разговоров с Богом Нина Валентиновна не слышала: старик просто стоял у окна и смотрел вдаль. Разве мог не ответить на ее вопрос, чего в остальные минуты с ним никогда не случалось.

Семен Иванович закрыл окно. Песок, залетавший в дом, расстраивал его: в возрасте, когда самые яркие радости, как ни крути, позади, сильнее всего ранят, как правило, мелочи. Тольятти был грязным городом, они переехали сюда, устав от столиц. Да и была квартира, оставшаяся в незапамятные времена еще от бабушки. «Живи», — приговаривала бабуля ему, тогда еще молодому, и пристально смотрела на него. Он не выдерживал взгляда и отворачивался: так уходящая жизнь смотрела на остающуюся. «Живи», — шептал голос откуда-то с границы, и ему очень хотелось жить. В городе не было моря, не хватало воды, были только заводы и офисные центры. В их дворе стояла трансформаторная будка, несколько больших канистр для мусора и баскетбольное кольцо без сетки, приделанное к ветхому столбу посреди песчаного поля. И справа, и слева, и впереди — через поле — стояли блочные дома, такие же, как и у них, а за теми домами стояли другие, если уж не такие же точно, то очень похожие, а где-то совсем далеко, куда жена уже не дойдет одна, — заблудится — проходила дорога. Старик любил посидеть на автобусной остановке, наблюдая за движением: мимо проносились автомобили, сновали туда и сюда охваченные бытовыми думами жители ближайших домов, а иногда царственно останавливался автобус; снисходительный водитель открывал двери и сразу жал на кнопку снова: он знал, что старику некуда ехать, а другие пассажиры на остановке появлялись редко, да и не сходил никто. Иногда старик откупоривал бутылочку пива, и липкий, вязкий день вдруг начинал бродить радостными пузырьками, неожиданно радовала мамаша с колясочкой или удачная шутка проходивших мимо старших школьников. Кто-то заговаривал с ним, спрашивал время, и старик улыбался в ответ: «Время, время...» — и кивал головой. Затем вдруг спохватывался, резким движением выставлял вперед руку, и, прищуриваясь, бодро рапортовал: «Половина четвертого, или пятнадцать тридцать. Нет, даже тридцать одна». Но интересовавшийся временем прохожий уже куда-то исчезал.

«Хм», — ежился Семен Иванович, возвращаясь в свое привычное забытье. Пиво приносило больше тоски, покидало его быстро, оставляя тревожное чувство медленного отрезвления, которое было гораздо хуже ясной трезвости. День был испорчен, оставалось либо напиться, либо тяжело приходиться в себя, но даже идти за алкоголем — не то чтобы пить — казалось ему бессмысленным. Напиться не удавалось: алкоголь не нравился, веселья не было, сон становился страшен и гадок. Приятное ощущение было от первого глотка пива, но только от него — единственного. А далее мозг просто погружался в какую-то мутную и вонючую жидкость, пока не тонул в ней. В этот момент у старика закрывались глаза.

Он не мог и не хотел напиться еще и из-за жены, конечно. Когда они становились беспомощны, в глазах стояли слезы. А какая помощь от пьяного, когда его и в

лучшей форме (теперь так приходилось говорить и про такое состояние) сдувает ветер. А если пьяный упадет, еще и расшибется. А станет плохо ей? Нет, он не мог подобного позволить.

«Нельзя заикливаться на одном человеке», — всплывали в его памяти слова приятеля из далеких времен уже зрелости, но еще вроде как молодости. «А в чем же тогда смысл? Посвятить жизнь другому — вот единственное, что оправдывает наше существование», — интимно шептал Семен Иванович, наделяя космической важностью каждое слово. «Ну-ну», — смеялся приятель сквозь сигаретный дым. Постаревший, он иногда посматривает на Семена Ивановича с телеэкрана, если тот вдруг решает включить пыльный ящик. Иногда старику кажется, что бывший приятель осознает его правоту в том разговоре. Иногда глаза бывшего приятеля кажутся ему грустными. И чтобы не видеть их, он выключает экран.

А как не заикливаться? Однажды жена действительно заблудилась в их унылом квартале. Дело было так: в одно из воскресений они собрались за продуктами. В собственном дворе магазина не было, в соседних — лишь пара павильонов, и они отправились в экспедицию, как шутя говорил старик. Деньги они получали из Пенсионного фонда, да иногда приходил перевод от дочери, живущей в Москве. Дочь никогда не вспоминала о них, старик вряд ли смог бы сказать, когда видел ее в последний раз: может, десять, а может, пятнадцать лет назад — в его возрасте прошлые годы уже перестают быть аккуратно расставленными папочками в архиве и сливаются в прямую линию, на которой все события не имеют ни дат, ни степени важности. Ее муж не был интересен Семену Ивановичу — он занимался какой-то продажей, перепродажей, арендовал и покупал что-то, посещал корпоративные курсы и сам проводил тренинги. Говорить с ним было не о чем. Дочь занялась бизнесом, дальше этого слова старик уточнять не стал: занялась, ну и занялась, — мысленно одобрил и забыл. Дочь была совсем другой; не то что любить ее больше матери — да и вообще, просто любить ее он так и не научился. Теперь она временами присылала сообщение на телефон Нины Валентиновны, узнавала, «живы ли?», «не изменился номер счета?», и делала нерегулярный перевод. На эти деньги не разгуляешься, но всякий раз они были кстати.

— Так доча понимает благодарность, — ворчал усталый старик, надевая пальто, но про себя благодарил ее и Бога, ведь без помощи этих двоих жизнь стала бы очень тяжелой.

— Ну а что ты хотел? Жизнь, — объясняла жена. Встав с постели и опираясь на стену, она тяжело дышала и осматривалась по сторонам, будто оказалась в незнакомом месте. В действительности ей было больнее: дочь была в детстве и юности ее лучшей подругой, отдалилась слегка, обучаясь на последних курсах университета. А затем внезапно уехала, сначала в Европу, затем вернулась в Россию. Мать просила о встрече, плакала возле окна, а Семен Иванович уходил на кухню и там засыпал. Затем просьбы о встрече кончились, а с ними и все разговоры. Дочь исчезла, стала другим человеком, выбрала мир, о котором они никогда ничего не узнают, даже самого главного: хорошо ли ей там? Они не знали, замужем ли дочь до сих пор, или уже разведена, или уже с другим — единственным контактом с ней были сообщения, приходившие изредка с телефона, в остальное время выключенного.

— Дай мне руку, — просила она привычным, ничего не выражающим голосом, и старик, босой и одетый в пальто, шел через коридор ей навстречу и протягивал руку. Она опиралась, чувствуя в руке силу, которой ей так не хватало, прижималась к нему все крепче. Эта сила не могла ее защитить или спасти перед лицом самого страшного, но эта сила еще была, и в налитых ею руках старика она чувствовала жизнь, в то время как ее собственная сила стремительно уходила. А самое страшное

уже являлось по ночам. «Забери меня, — кричала она старику сквозь сон бессвязные слова. — Верни мне», — а он закутывался в одеяло и бесконечно долго на нее смотрел.

К середине дня у Семена Ивановича разболелась голова, да и слабость организма дала о себе знать в самый неожиданный момент. Виски сдавливала какая-то непреодолимая и жестокая сила, перед глазами появлялись пятна, все плыло: потолок, стены, тревожно качалась из стороны в сторону блеклая лампа на черном проводе, свисавшая над прихожей, как будто дело происходило не в панельном жилом доме, а на корабле при сильной качке. Старика резко затошнило, голова взорвалась неестественной, непривычной даже для его здоровья болью, и на какое-то мгновение отнялось зрение. Он резко качнулся вправо, заваливаясь на жену и не желая потянуть за собой, выпустил ее руку. Но так и не смог увернуться; падая, толкнул ее, и без того потерявшую равновесие.

Это могло быть смешно, засними кто такую картину на видео: два старичка, сопровождая друг друга, падают по дороге к входной двери. Они и сами посмеялись бы — к своим годам им удалось сохранить чувство юмора и добрую иронию друг к другу, — когда бы, падая вслед за ним, она не ударилась головой об угол тумбы. Издав какой-то — то ли хлюпающий, то ли хрипящий — звук, она потеряла сознание да так и лежала возле тумбочки, а рядом, на расстоянии вытянутой руки, в беспамятстве ворочался старик и стонал. Тусклая лампочка висела над ними неподвижно, на кривом черном проводе, и совсем не шаталась, ведь это был не корабль, а обычный панельный дом.

Сколько прошло времени, он не мог понять, да и выяснить это не было никакой возможности. Мысль бежала впереди, была сильнее физической возможности встать, он отчетливо понимал: что-то случилось с женой. Внезапно настигшая слабость, едва возвращающееся зрение, дикая головная боль приковали его к полу, только судорожно двигалась рука, цеплялась за стену, пыталась оттолкнуться от пола, но не хватало сил. Он окликнул ее по имени — один раз, другой — испугавшись собственного голоса, ставшего внезапно хриплым и неестественно тихим, в то время как хотелось орать. Вдруг что-то укололо в сердце, затем еще и еще, превозмогая боль, он пытался привстать, чтобы увидеть ее, но не получалось. Через какое-то время голова бессильно упала на пол, издав глухой стук. Чтобы помочь, нужно было прийти в себя, нужно было лежать и ждать.

Старик старался дышать медленно и ровно, он чувствовал, как боли постепенно отступали, как силы медленно, но верно возвращались к нему. Он смог ощущать что-то еще, кроме ужаса, к нему постепенно приходили мысли. В них не было настоящего, не было комнаты, лампы, дурацкого падения, чертовой тумбы, в конце концов, там не было. В них были неясные воспоминания, улица, которой он *вспомнить* никак не мог, яркое солнце, слепившее глаза, и он, Семен Иванович, без головного убора, ищущий, как от него укрыться. Он все глубже проваливался в какой-то мистический сон, но знал, что тот день был на самом деле. Старик попытался приподняться, но неуклюжая попытка вновь закончилась ударом об пол.

Несговорчивая машина времени возвращала его в день, который когда-то точно был прожит, и это один из счастливейших дней — они отмечали какую-то дату. «Сколько-то лет, как решили быть вместе», — вертелось в зудящей голове. Они шли по солнечной улице в ресторан, ему — чуть за сорок, ей — чуть меньше сорока. Но о чем они говорили, во что были одеты, что было до этого, да и вообще — когда все это было — проклятое помутнение не давало вспомнить. Там была кошка, да, там была кошка, и не одна. Кусок забора, торчащие железные прутья, и залитая солнцем улица. «Автомобиль», — прошептал старик и вновь попытался встать.

Воспоминания приходили вместе с болями. Не те, что он хранил, не те, к которым обращался в минуты грусти или романтического — с ним случалось и такое — настроения. Не те, в которых и он, и она помнили каждое слово, каждое движение свое — целые истории, которые они могли безошибочно рассказать, лишь взглянув на фотографию из альбома — только друг другу, больше им было некому. А другие воспоминания, которых словно бы и не было никогда, словно бы они пришли из другого измерения — где хаотично хранятся случайности, незначительные и неброские фрагменты прожитого, моменты обыденности, где они переплетаются друг с другом настолько, что дата, время и место событий становятся категориями, лишёнными всякого значения. Внезапная боль выпускала их, и тогда там появлялась молодая она. Не старуха еще...

«Мне уже за семьдесят пять, а ты никогда не называл меня старухой. Надо признать: старуха и есть», — говорила она, собирая пролитый чай тряпкой. Рука дрожала, вот и не выдержала — опрокинула. Любимую чашку, подаренную им в наборе. «Ничего, есть еще чашечка, — шептала она, — куда-то подевалась чашечка».

Старик помнил, что предпоследняя чашечка была разбита пару дней назад. Ее осколки все еще лежали в мусорном ведре. «Ну, какая же ты старуха, — он гладил ее руку и смотрел куда-то вдаль. Но помолчав и словно спохватившись, посмотрел на нее. — Какая же ты старуха», — повторил он зачем-то. «Ну, заладил», — осадил она.

«Нет, — он словно нашел, что сказать, подобрал нужное. — Ты всегда была моей женщиной, самой нужной мне женщиной. Когда мы познакомились, ты была молодой-молодой, — он улыбнулся чему-то. — Хотя тебе было под сорок, но я никогда не замечал этого. Я не замечаю и сейчас, — он пожал плечами, — твоего возраста нет. Да и я иду рядом с тобой, мы всю жизнь действительно вместе. Ну а кто знает? Мы как одно целое, мы же прожили с тобой, да? Мы не замечаем возраста друг друга, как не замечаем своего. Жизнь так устроена».

Она почему-то молчала. Тряпка давно лежала на полу, но она не думала об этом: должно быть, забыла, что протирала пол.

«Ну, а ты что-нибудь поняла из моих слов?» — произнес старик.

«В том-то и дело, — с каким-то безумием посмотрела она. — Никакого возраста нет. Я не старела никогда, но раньше я не забывала. Раньше я не падала и не болели так сильно ноги. А у тебя... вот когда я смотрю, как ты спишь... Ты раньше не спал так. Тебе часто больно. Мы можем упасть на улице. И от этого так хочется плакать. Почему мы должны падать? Мы всю жизнь были сильные, добивались чего-то. Москву помнишь? И вот теперь мы падаем, не можем до магазина дойти. Жизнь несправедлива. Она проучила нас, а за что? Ведь не за что было. Ты знаешь свой возраст? Я — нет. Я не помню, сколько мне, семьдесят три-семьдесят четыре, мне не столько. У меня совсем другой возраст».

Старик лукавил. Конечно, он замечал ее возраст — так было не только сейчас, но и прежде. Время шло и ставило свои отпечатки на ее коже, уголках ее губ, груди, которая становилась все мягче, на руках, которые грубели — казалось, именно с них начиналось старение, и именно они выдавали ее истинный возраст, когда многим ее сорок с небольшим казались тридцатью. Казалось, время меняло даже вкус поцелуя. Он смотрел с грустью и сожалением, не на нее — любимую не меньше, чем в первые дни их совместной жизни — но на то, что с ней делало время. Когда она бледная, с кругами под глазами представляла его взору утром, долго и тревожно всматриваясь в зеркало в ванной комнате, он обнимал ее сзади и говорил, как она красива. «Да что ты, — отвечал он на ее сомнения. — Ты у меня самая красивая. Брось, никаких морщин я не вижу. У тебя все замечательно».

Но старость пугала его самого. Еще в начале их совместного пути в минуты, когда ее не было рядом и она не могла увидеть, Семен Иванович и сам подолгу всматривался в зеркало — и там, где не хотел замечать наступающую старость жены, он отчетливо видел свою. На лице появлялись непонятные складки, нос как будто раздался, стал большим и некрасивым, усыпанным черными точками, морщины на лбу становились все более заметными, подбородок принимал форму двойного, казавшегося ему уродливым и ненавидимого им с детства типа подбородков, кожа щек пестрила какими-то мелкими трещинами, и, что особенно расстраивало его, на лице и шее постоянно образовывались новые родинки, а некоторые старые увеличивались и становились висячими. «Омерзительно», — шептал он возле зеркала. В отличие от Нины Валентиновны, он не нуждался в каких-то словах, успокоениях со стороны, для него и так вся правда была очевидна: он бодрился, но ужасно боялся старости. Он видел, что наступит она не скоро, что у него гораздо больше времени, чем у нее — мужская старость наступает намного позже женской, — но она неизбежно наступит. А какой она будет, ему отчасти подсказывала жена, чей корабль первым взял курс к берегам старости и уже не мог с него свернуть.

«Бритвы», — говорил он отстраненно — не самому себе под нос, но и не миру, тем более что рядом никого не было, — словно признавал что-то неизбежное, что не хотелось принимать, но от чего не было никакой возможности отказаться. Еще в молодости, в студенческие времена, когда он, подобно многим сверстникам, увлекался стихосложением и экспериментировал в прозе (кто знает сейчас, где эти тетрадки?), Семен Иванович обратил внимание на тот, казалось бы, очевидный, но игнорируемый всеми молодыми людьми факт, что люди стареют. Причем стареют они не просто быстро, а ежесекундно: каждый миг своей жизни человек стареет, таков жестокий механизм старости, которая держит в тисках человека всю жизнь, пока не искромсает его. Он даже отчетливо представлял себе сам механизм, его, если можно так выразиться, техническое устройство: как будто на голове каждого человека установлена некая конструкция, представляющая собой множество вращающихся перед лицом человека бритв, непрерывно кромсающих кожу лица. Пока не будет стерто лицо, пока не упадет человек, искромсанный злыми бритвами, не останутся они, и не снять человеку злобещий аппарат со своего лица, — рассказывал он концепцию в пьяных компаниях. Бритвы искромсают самых красивых, влиятельных, респектабельных, самых естественных и позитивных, самых злых, самых добрых, рожденных большими и полных жизненных сил, бесцельных праздных гуляк и полных задумок гениев. Справедливости ради, тогдашний студент не носился с этой идеей, выдавая ее за оригинальность, он доверял ее не всем, а только избранным, как личную тайну и личную боль. У него была девушка, одна из первых красавиц на потоке, друзья завидовали ему, но такое положение не спасало от тяжких раздумий: порой он просыпался в холодном поту в палатке на берегу моря, в загородном коттедже, в студенческом общежитии после веселой попойки, в постели со своей красавицей. Ему снились бритвы. Случалось это и в зрелом возрасте, в вагоне поезда, в гостинице в командировке, утром нового года в объятиях той, что дожила с ним до дней, когда жестоким бритвам осталось совсем немного работы. Он один называл ее по имени, как будто единственный из живых, кто знал его, а значит — хранил. Берег в сердце. Имя — то, что оставалось в ней неизменным и до чего бритвам было никогда не добраться.

Он позвал ее по имени. Было очень больно, из горла пару раз вырывался бессвязный хрип, и только. Лишь после того, как старик немного подождал и отдышался, он смог внятно произнести ее имя. Глаза смотрели на лампу, он приподнял чуть-чуть голову и увидел: лежит. Дышит ли?

Порой он чувствовал скрежет бритв перед собой. Порой они сверкали между ними во время поцелуя. Порой он говорил своей, тогда еще живой, матери, о том, что навестит ее осенью, а лезвия бритв скрежетали: «Нет, миленький. Ты знаешь все наперед. Зачем обманываешь себя?» Он отвечал односложно, его речь сбивалась, а мать печалилась, считая его неблагодарным или невнимательным, и выходила курить на красивый балкон с цветами. И никогда не знала, что он плакал, думая о ней. Сложно сказать, жалел ли он только мать или страдал от того, что никому из его близких никогда не вырваться из времени.

Тогдашний приятель его говорил в ресторане, в центре Москвы: «Твои бритвы — это все ерунда. Если все нормально по жизни, то нет никаких бритв. Женщины стареют, но женщин много. И потому это совсем не трагедия. Пока стареет одна женщина — тысячи созревают. А мужчина стареет тогда, когда захочет. И то, если захочет. Сечешь?» Старик перестал покупать журналы, но если б покупал — увидел и его, давнего приятеля из бара, главного редактора одного из журналов для умных и слегка циничных мужчин. Впрочем, главный редактор — это было скорее хобби, нежели призвание: приятель был совладелец фирмы, выпускающей этот журнал, а помимо нее — самой крупной сети фитнес-центров и держатель нескольких гостиниц в разных городах страны. В его журналах не было старых женщин, но экономическая целесообразность нашептывала ему избавиться и от них: журналы тоже старели. «Женщина существует как сосуд для наполнения мужских потребностей — от самых простых, вроде секса в туалете, до продиктованных космической сущностью человека: выносить продолжателя рода. Мужчина слишком занят в этом мире, он как руководитель в крупной компании — дает указание, обозначает, что требуется, обрисовывает первый штрих. Дальше ему некуда, его ждут тысячи дел. Так и беременность: по логике человеческого бытия мужчине просто некогда беременеть, вот он и выполняет необходимый минимум, зарождает в женщине эту тяжелую, но столь необходимую работу. А дальше она сама. И когда та рождает — один ли раз, два ли, три — и понимает, что больше рожать не сможет, от нее остается только оболочка. Она как использованный кокон, от которого освобождается маленький человек, и все — до нее больше нет никому дела. Многие женщины знают, как есть на самом деле, и им не нужны никакие слова любви. А если они и слышат такие, то никогда не разделят всей прелести с говорящим.

Старик иногда вспоминал эти слова — они всплывали в памяти против его воли. В сущности, если у каждого человека наступает в жизни момент истины, как его многие называют, или момент главного выбора, то он случился тогда. Не в ресторане, во время разговора с приятелем, конечно, но в тот самый год, когда он особенно заметил старение жены. Их позднее знакомство не позволило ему узнать, какой она была юной, когда толпы поклонников ухаживали за ней, а она все ждала своего и отказывала. Он встретил ее, когда она отчаялась найти, почти в последний миг. Он знал, что ее молодость прошла под знаком ожидания, сгорела в этом ожидании — она верила в счастье, верила в чудо, а бритвы работали. Пока она доверялась человеку, проходили годы, но затем, после какой-то глупости, чьего-то неудачного проступка легко теряла доверие, а вместе с ним интерес к человеку. Она не сдавалась, как многие, не соглашалась на тех, кто «почти подходит» или «лучше будет, лишь бы не остаться одной». Она совсем не боялась быть одна, но верила в счастье так, как, казалось ему, невозможно верить. И он, пораженный, захотел дать ей счастье, подарить его. Это могло быть только делом жизни, иного счастья ей было не нужно.

«И вот... Эта верность, о которой много говорят, за которую сейчас медали дают, — объяснял он однажды журналисту Аркадию, засидевшемуся у него на кухне,

когда она уже спала, пригубив вина и выпив чаю с медом, — это не то же, что любовь. Совсем не то же. Любовь никуда не исчезнет. Влюбляются раз и на всю жизнь на самом деле многие. Но что такое верность? Разве это то, что, кроме своей единственной, ты не замечаешь никого на свете? Что для тебя нет других женщин, кроме нее? Что секс с ней так же хорош, как и пять лет назад, наконец? Это сейчас я о сексе думаю не особо...»

Старик не понимал и сам, зачем рассказывал все это журналисту — человеку, не слишком хорошо ему знакомому даже, порой в разговорах с женой именуемому не иначе как «собутыльник». Но какую-то мысль хотел донести миру, в надежде, что журналист расскажет кому-нибудь еще, и эта жизненная тайна, которая вовсе, конечно, не тайна, его маленькое жизненное дело не пропадет, а будет услышано кем-то. Может, он куда-то напишет, черт его знает, он же журналист. Пришуриваясь, старик смотрел на собеседника и морщился, вспоминая пару статей того, которые ему довелось прочесть: «Ну хоть послушает, ладно», — вздыхал он про себя.

«Но когда твоя любимая стареет, а любовь нет. И при этом ты полон сил, и тебе постоянно встречаются женщины, ты пересекаешься с ними по работе, они улыбаются тебе в транспорте и в магазине, они пишут тебе, твои бывшие нет-нет да и звонят и предлагают ни к чему не обязывающую встречу в кафе. А бывает, что и молодые подруги жены предлагают себя — без намеков, вот так, в открытую. Помню, к нам в гости пришла одна такая подруга, коллега ее по работе. Она была ох как ничего, — Семен Иванович даже прищурился, вспоминая приятный момент из жизни. — Но я сказал себе: стоп. Она прямо в комнате, пока моя на кухне вынимала что-то из печи, сказала, что хочет, и желательно прямо сейчас. Да, мы выпили тогда немало, конечно. Она и к себе звала на следующий день, приезжай, говорила и даже втроем уговаривала: давай, мол, твою уломаем, я, говорит, готова обслужить вас по высшему разряду. Но моя не понимала прелести секса втроем, вот мы никогда и не попробовали... Все свели в шутку, когда за столом все вместе сидели, говорили о каких-то невинных вещах, телевизор включили, какой-то концерт посмотрели. А мы с ней переглядывались иногда, и она на меня смотрела, а в глазах ее такой секс читался, дикий, необузданный. И в моих, наверное, тоже. Правда, одета она была скромно. Тогда еще не было всего этого, ну вот, к примеру, лабутенов этих не было. Так бы, может, и не удержался бы».

В те годы, когда их московскую квартиру навещали такие гости, Семен Иванович часто мучился от мыслей об измене. Он очень скоро понял — причем именно в отношениях с ней, ибо до нее никогда не имел ни на кого из своих женщин серьезных планов, — что любовь и секс живут где-то рядом, но одно не зависит от другого. Его любовь была величиной постоянной, даже больше: с годами, прожитыми вместе, она крепла, становилась все сильнее, проникала в жизнь его так глубоко — казалось, на клеточном уровне, — что начала составлять суть этой жизни, сама стала ею. Гулянья в парке, походы в кино и по магазинам, вечерний просмотр телевизора и чтение вслух газет, предвкушение путевки в санаторий и пролистывание альбома с фотографиями холодной зимой — все эти простые вещи, как он их называл, человеческие радости, лишь больше укрепляли его в том, что он не ошибся однажды с выбором, что ему хорошо и комфортно с ней рядом, а главное — ее счастливые глаза наполняли его сердце трепетом, а жизнь — смыслом и важностью. С сексом же было иначе. Не искушенная в нем и не проявлявшая активности, Нина любила секс, но не умела заниматься им. Она получала наслаждение в простых позах и была на седьмом небе от счастья: ей было этого достаточно. Она и не подозревала даже, как скоро ее спутнику жизни надоел этот рутинный секс. Ему, которого женщины сами просили провести с ними ночь, не просто было легко из-

менить ей — ему этого очень хотелось. С некоторых пор совместной жизни измена стала идеей фикс для него, молоденькие девушки манили его своим возрастом, кто неопытностью, кто, напротив, столь рано проснувшейся похотью, женщины старше — разнообразием.

Проходя по улице, даже обнявшись с ней, он чувствовал головокружение от того, сколько вокруг женщин, и хотел буквально каждую, в его голове рождалось безумие, когда он представлял, что творил бы в постели с ними, какой бы это был написанный разврат. Едва успокоив свои грязные, но столь будоражающие воображение мысли, он отчетливо понимал, что в них общего, во всех этих встречах, случайных женщинах, к которым его так тянет: в каждой из них было главное, что возбуждало его сильнее всех фантазий, уже само по себе — это была не она. Не его возлюбленная.

Занимаясь с ней сексом, он представлял себе их — запомнившиеся лица и фигуры из трамваев, с пляжа, из магазина, подсмотренные в кино. Особенно любил ее подруг, приходивших к ним в дом или приглашавших в гости. Вспоминал кого-то из своих бывших, представлял проституток, фантазировал на тему лесбийского секса и доминирования женщин друг над дружкой — в его голове находилось место любым картинам, кроме единственной — реальности, в которой он здесь и сейчас, был с ней. Он перестал смотреть на нее, закрывал глаза, его движения становились порывистыми, резкими и однообразными, но она все равно ничего не понимала, и когда он, изможденный, падал на нее или рядом с нею, она целовала его и благодарила.

Удивительно красивая от природы, Нина становилась еще прекраснее, приобретала будто бы волшебный, ангельский вид — только раскрасневшегося, с растрепанными волосами ангела. Ей было хорошо, она была восхищена совершенно искренне: он дарил ей настроение, дарил жизненную радость, удовольствие чувствовать себя желанной. «Как секс преображает женщин», — не уставал изумляться Семен Иванович на протяжении всей своей жизни.

— Конечно, она не знала. Ну как я мог рассказывать об этом, как бы прозвучало: ты знаешь, моя радость, я в постели представляю не тебя, а Лену, например? Ей было бы больно, она никогда не сомневалась во мне, в моих чувствах, а радость секса для нее была радостью чувств. К тому же она бы поняла это неправильно — как мою измену. А это не была моя измена. Я никогда не хотел, чтобы так было. Я представлял, что мы будем вечно, с первого дня знакомства. Но вмешалась тупая физика. А как это еще назвать? Не я хотел ей изменять, не мои чувства, не мой мозг — сама природа. Она бы перестала доверять мне — это раз — и перестала бы сама получать наслаждение — два. Этого было достаточно, чтобы скрывать от нее истину. Но то, что она получала взамен, как компенсацию за незнание этого обмана, было в несколько раз лучше. Мои фантазии распаляли меня, и да, я был не с ней, но все равно был с ней — такой вот парадокс. И она была счастлива, говорила, что у нас идеальный секс, что у нее ни с кем не было так, как со мной. И знаешь что? Я действительно был хорош! Я делал это ради нее и в конечном счете оказался прав. А если бы я открыл ей глаза? Кому было бы лучше?

— Ты так и не изменил ей? — ухмылялся захмелевший журналист.

— Я понял одно: от верности кайфа больше. Верность — это тяжелый, чуть ли не физический труд. Это не розовая идиллия и не вынужденная необходимость. Это работа над собой здорового взрослого человека в мире возможностей и соблазнов, чуть ли не ежедневное самоотречение. Ты добровольно отказываешь себе в том, чего у тебя никогда, ни в какой жизни больше не будет, а ты можешь это взять здесь и сейчас. На такое надо решиться, — старик любил эту мысль и здесь делал продол-

жительную паузу, во время которой журналист Аркадий мог, например, посетить туалет. — Конечно, важно то, чтобы той, кому ты верен, это было нужно. Иначе просто нет смысла. Но верность — это чувство высшего порядка, если бы я изменил ей хоть раз, я променял бы высший смысл на радость нескольких часов, а вся последующая жизнь была бы омрачена этими часами. Для нее в моей верности было счастье, ощущение того, что жизнь именно такая, какой она ее хотела, о какой мечтала, конечно, что все было не зря. Подарить другому человеку эту жизнь или просто трахнуть какую-нибудь изголодавшуюся по сексу шлюху? Нет, это навсегда наложит отпечаток на семью, на отношения. Сейчас я вижу: жена прожила свою жизнь счастливо, и она сейчас счастлива. В том числе и потому, что я когда-то решил быть верным, в то время как меньше всего этого хотелось.

Семен Иванович и сам не заметил, как начал называть ее женой. Хотя они так и не женились и прожили все свои годы в так называемом гражданском браке. Оглядываясь назад, они не понимали и сами, почему так получилось: вроде их любовь должна была стать браком — единственным и на всю жизнь, а не стала: с другой стороны, если есть любовь, зачем ей какой-то брак? Они не планировали свадьбу, не мечтали о ней, не копили и не думали, кого пригласить, — все проще: они, видимо, забыли о ней. Им было все и так понятно: будут вместе, что бы ни случилось. Однажды они сказали друг другу: у нас всегда все будет хорошо, — и этот день можно было бы считать днем свадьбы, когда бы их обоих на закате лет не подводила память.

Сделав свой выбор однажды — быть верным, — старик гордился им всю жизнь. Гордился и сейчас, даже если на улице встречал совсем молоденьких красоток в коротких юбочках и черных чулках, и в нем — нет, не просыпались, но ворочались во сне отголоски тех давних лет, когда он делал выбор между женой и такими же, как они. Уходящая жизнь казалась ему цельной, все задачи были поставлены, и все задачи были выполнены. «Должно быть, стоило поставить себе еще несколько задач?» — думал он иногда. Но быстро охладевал к этой мысли.

Удивительно, что когда старость наступила, Семен Иванович перестал ее бояться. Все стало очевидно, просто, вся жизнь, в которой он бешено искал смысл в юности, подкапывался в зрелом возрасте и надеялся найти в пятьдесят, стала ясной и простой. Полная целей, маленьких и больших, переживаний, серьезных и несерьезных, очарований и разочарований, она стала единой, безэмоциональной — стала тем, чем никогда не была и чем он очень хотел ее чувствовать — просто жизнью. И кроме этого «просто», у нее не было иных характеристик.

Картина солнечного дня, который отчего-то упорно всплывал в памяти, постепенно восстанавливалась и заполняла собой все сознание — даже ту его часть, что отвечала за связь с реальностью в данный момент — на холодном полу под лампой. Сюжеты из давнего прошлого приходят в старости хаотично и избирательно и — как убедился старик за последние несколько лет жизни — против воли. Силясь вспомнить какую-нибудь дату, прекрасный момент их совместной жизни, теплую встречу с последними из друзей — тех, что остались там, в столице, он не мог этого сделать: картина событий рушилась, так и не успев построиться, а тут — пожалуйста! — некоторые воспоминания не просто приходили — врываются в голову, терзали его привычные дни, не давая помыслить ни о чем, кроме себя. Их нельзя было выбрать, пролистать, как фотоальбом, и остановить взгляд на самой красочной карточке, они сами выбирали — и себя, и время своего появления, а порой приходили и к ней, и к нему одновременно. «Мы же одно», — говорила она, и старик кивал головой.

Но что пришло к ней сейчас, он не мог знать. Сам же он видел наконец всю улицу — одна из маленьких столичных улочек, какие сохранились еще, но в которые

незнающему человеку можно забрести лишь случайно. Им повезло — они жили неподалеку, в старом, но аккуратном двухэтажном доме, окруженном зеленью: яблочными, ореховыми деревьями, разнообразными кустами, названий которых он никогда не знал, но на которых иногда появлялись ягоды. Единственным зданием выше их дома во всех видимых окрестностях была городская больница — впрочем, и ее громадиной не назовешь: современное, но со вкусом построенное здание в пять этажей, возле которого был разбит аккуратный сад с аллеями, скамеечками, вечерними фонарями и даже небольшим фонтаном. Территория больницы была окружена забором, который граничил с их маленьким двором. Выходя из подъезда или просто выглянув в окно, они всегда могли увидеть нервно курящих и вздыхающих посетителей, терзаемых вопросом «ну как?» и мысленной надеждой «лишь бы все было в порядке», мам с маленькими детьми или серьезных статных мужчин, обнимающих за плечи седовласых женщин, встречались там и врачи в своих белых халатах, терпеливо объяснявшие что-то нетерпеливым родственникам. Вот и сейчас он их отчетливо увидел, в своих воспоминаниях прикрыв калитку и выйдя на прогулку по их «двухэтажной» улице. Они спешили в ресторан, отметить очередную годовщину совместной жизни — того дня, когда они сказали друг другу главные слова, решив быть вместе. Даже сейчас старик пытался вспомнить, что это за дата, и не мог. Но было солнечно и жарко, значит — лето: а ведь именно летом происходит все самое лучшее. Они спешили к маленькому мосту, которым заканчивался их короткая и уютная улочка — впереди он видел детей, перебегающих через дорогу, выгуливающую бульдога женщину в безразмерных солнцезащитных очках; вот слева от них стоял потрепанный временем ржавый ларек, где они, страдая от недостатка времени, чтобы дойти до магазина, покупали хлеб, колбасу и сладкое печенье. А справа, где заканчивался больничный забор, стоял совсем уж ветхий дом на три квартиры. В одной из них жил дед — тогда им казалось, совсем древний, выдавший такие времена, которых и не существовало вовсе. Он отчетливо увидел этого старика, всплывшего в памяти спустя столько лет, мог разглядеть, во что тот был одет — казалось, это какие-то несуразные мешки, но, конечно же, то были просто старые рубашки и потертые джинсы; старик сидел на огромном гнилом пне возле дома и пристально смотрел на них. Ей было всегда не по себе, когда они встречали сидящего старика, она прижималась к нему и шептала: «Почему он на нас так смотрит?» Семену же был любопытен старик, он не считал, что во взгляде того есть угроза, осуждение или хотя бы неприязнь. Наблюдая за ним и его пристальным взглядом, он делал вывод, что старик провожает жизнь — его изумил этот взгляд лишь впервые, и он быстро привык к нему. «Старик провожает жизнь, и он жадно впивается взглядом во все, что видит вокруг, — объяснял он ей. — А видит он очень мало — только тех, кто проходит по этой улице, вот и вся его жизнь. Дед понимает, что ему недолго осталось наблюдать эту жизнь, и поэтому он так жаден». — «Сам ты жаден», — пожимала плечами она и забывала о том старике и его взгляде.

Но в тот день от их молчаливого и соблюдающего дистанцию контакта со стариком оторвали кошки. Это были самые обычные кошки, которые в огромном, каком-то даже неприличном для территории медицинского учреждения количестве плодились возле больницы. Они были настолько обычны, что даже влюбленная пара, равнодушная к кошкам и державшая дома одну, проходила мимо, не останавливаясь поглядеть, как те играют. Семен смотрел на маленькую улочку, любуясь ее перспективой, и наслаждался жизнью, а вернее, простой и приятной формой, которую та приняла с тех пор, как они стали жить вместе. За тем мостом, которым кончалась улица, открывалась настоящая Москва — большая и шумная, с ветром,

скоростью, людскими потоками, силой трения между людьми в магазинах, очередях, учреждениях, с домами, рвавшимися ввысь, с рекламными баннерами, нависающими над людьми и вселяющими страх своим размером и непрочностью конструкции вместо желания купить или куда-то поехать. Или о чем они там были еще, Бог их знает. И сейчас они шли в тот мир с радостью, что нечасто бывало: они шли в большой мир отмечать свое маленькое счастье.

Нина резко схватила его за плечо, и он не успел еще вырваться из своих мыслей, начать привычный в таких случаях вопрос — что-то случилось, любимая? — как увидел омерзительного вида человека, стоявшего в двух метрах от них. «Что?» — только и выговорил он. Омерзительный человек тыкал каким-то толстым металлическим прутом в нос кошке, ошетинившейся и тихо, почти неслышно, шипевшей. Человеку было навскидку лет двадцать, и все в его виде говорило, что он дебил — не в том развлекательном смысле, который используют в дружеских разговорах, а в самом натуральном, прямом. Рот человека был открыт, выставив напоказ гниющие зубы, с губ стекала слюна — по подбородку и дальше, на оголенную грудь (цвета помоев майка на человеке была порвана в нескольких местах) или на землю, глаза впились в кошку, не замечая ничего вокруг, а рука бешено двигалась взад-вперед, а затем застыла — человек выжидающе смотрел на кошку — и вновь резко двигалась вперед, в то время как рот издавал дикий протяжный звук. Дополняли образ брюки, обрезанные до колена, и резиновые сапоги. Прут в руках человека внушал опасения: сам придурок был очевидным слабаком, завалил бы его на землю и тот, кто о драках лишь читал или смотрел фильмы, но вот опасное железо могло проломить голову не только кошке, но и человеку. К тому же толстый прут был заострен, и странный человек норовил проткнуть глаз кошке или попать ей острым концом прямо в шипящий рот.

Человек настолько поразил Семена, что он и не смотрел на кошку. «Котята», — шепнула Нина, наверное, единственное, что в тот момент успела выговорить; он резко перевел взгляд вниз, к забору, и увидел: действительно, несколько маленьких котят испуганно жались к кошке. «Все понимают», — только и успел подумать он, как человек резко ударил кошку сбоку по голове и прикрикнул что-то невразумительное, вроде победного клича дебила. Животное отскочило, ошарашенное болью, но тут же подбежало назад, к котяткам. Человек залился диким смехом и вновь принялся вертеть прут в руках. Котята его явно не интересовали, но было видно, как страшно кошке, у которой даже отнялся дар ее кошачьей речи, и она давно убежала бы — нелепый человек с железной палкой никогда не догонит юркую кошку: нырнула в подвал, и ее как не бывало, не будь рядом этих маленьких существ. «Они ведь тоже боятся за кошку, — подумал Семен. — И жмутся к ней не от страха за себя, а именно от страха за нее». «Эй!» — наконец выкрикнул он. Неприятный человек обернулся к нему и убрал прут из-под носа кошки. Нахлынувшее омерзение не оставило в нем места страху, и он медленно, как-то устало, произнес идиоту: «А ну иди отсюда». Человек развернулся покорно и, даже не глядя на кошку, отправился прочь — в сторону дома, где жил старик с пронзительным взглядом. «Прут выкинь», — добавил Семен вслед. Орудие жестокой игры упало на асфальт и громко брякнуло. Звук напугал кошку не меньше, чем страшный человек, и она в окружении котят засемила вдоль забора, в сторону ворот на территорию больницы. «Ну, пойдём», — сказал он Нине, и они молча пошли в сторону моста.

Старик угрюмо смотрел в угол, вспоминая картину и уже не пытаясь встать, воспоминания пригвоздили его, он даже не шевелил рукой, замерев на полу: казалось, там, за мостом, небо заволочло тучами, и готов был вот-вот разразиться дождь. Дед, сидевший на пне, не отрывал от них взгляда, он смотрел на них, когда они при-

ближались — и каждому казалось, что именно на него, — следил, как они проходят мимо, и провожал их, когда они начали отдаляться. «Ну что вам надо?» — не выдержала Нина и вернулась назад, вплотную приблизилась к деду, но у того даже не шелохнулась бровь. Ему не было интересно вступать в разговоры. «Вы что, это все видели?» — она почти кричала. «Дед все видит», — мрачно сказал Семен, взял ее за руку и быстро повел за собой.

В ресторане было не уйти от разговора об увиденном. Он хотел, чтобы все образумились, чтобы не омрачали праздник ненужные мысли, но ему и самому было не по себе, хотя он успокаивал, как мог, свою возлюбленную. Выпив пару бокалов, она вернулась к прожитому событию и, как он ни отговаривал, разнервничалась и совсем не желала слышать о праздничном настроении, о том, почему они собственно, сюда пришли.

— Нет, дай мне сказать. Ты видел саму кошку? Видел, какая она маленькая и беззащитная?

— Прошу тебя, не начинай, — Семен взял ее за руку и осмотрелся по сторонам. «Зачем? — вдруг подумал сам. — Какая мне разница, кто что увидит или подумает? Ну, разнервничалась женщина».

— Да нет, я не о том, что кошка, и мне ее жалко. Хотя это, конечно, тоже, и это в первую очередь. Но ты видел, как она защищала котят? Ей было страшно, но она готова была умереть, погибнуть. Ведь она же понимала, что у нее против этой палки и этого... зверя, против него, да, никаких шансов. Понимаешь, никаких? Она просто выгуливала своих котят в летний день, и ситуация обернулось таким вот образом. Хотя ничто не предвещало. И ты думаешь, что? Она надеялась, что своим телом она защитит их, своей жертвой, своим вот этим шипением? Нет, это же совершенно невозможно, — она размахивала руками, не зная, куда их деть. — Она умерла бы, забитая железной палкой, ну, или раненая лежала бы возле забора, а он бы расправился и с котятами, если б захотел. А он захотел бы. Мог бы убить их, мог бы утащить, мог бы прогнать.

— В мире много зла, — Семен попытался отделаться дежурной фразой. — Что он еще мог бы? Зачем нам с тобой сейчас об этом думать? Мы отогнали его, значит, сделали маленькое доброе дело, — теперь попробовал шутку. — Мы молодцы, — он развел руками и откинулся в кресле.

— Да, но это зло совершенно бессмысленное, оно не оправдано ничем не только нравственно, но и практически, логически, не знаю, как еще. Этот человек, эта мразь... Он даже вряд ли получал от этого удовольствие. Так, чтобы было чем занять время.

— Он даже вряд ли понимал, что делает. Он же идиот.

— Вот. Понимаешь, в каком виде приходит зло. Есть вот эта кошка, мать, она живет и каждый день делает что-то, бегае там, кормит их, отдыхает на солнце. Это маленькая жизнь в большом мире. Но ее так легко растоптать, разрушить, просто по чьей-нибудь прихоти, и от нее ничего не останется. И следа.

— Ладно, — он поднял бокал. — Давай выпьем за то, чтобы с нашей жизнью так не случилось.

— Мы, люди, так же уязвимы. Все в мире уязвимо против абсолютного зла. Вот так живешь, строишь планы, любишь, копишь деньги на квартиру, лечишься у доктора в доме напротив, ужинаешь, уставший, стелешь постель. А в какой-то момент в тебя тыкают палкой, просто ради того, чтобы провести время. У тебя могут отнять любимого, ребенка.

— Да откуда у тебя такие мысли? — он начинал заводиться.

— Это очевидно. Почти что все в мире живет до тех пор, пока не попадает в поле зрения абсолютного зла. Кроме тех, кто и есть это зло. Мы же абсолютно беззащит-

ны — со всеми деньгами, законами, системами безопасности. Кто захочет — разрушит нашу жизнь в секунду. Главное — не попасться ему на глаза.

— Так, стоп. По-моему, я знаю одного такого, от чьего взгляда мы точно не отвертимся. И в чем поле зрения мы постоянно.

— Тот дед?

— Нет, что ты... Хотя какая-то правда в твоих словах есть, — он взял паузу. — Это время. Вот перед кем мы абсолютно беззащитны, и кто уж точно не оставит от нас и следа. А мы его сейчас теряем. Отводим на разговоры о том, что нас совсем не касается, сидим, как два идиота, и делаем вид, что постигли суть мироздания. Уныние, между прочим, смертный грех. В то время как сегодня наш праздник, и лично меня не волнует ничего больше, — убедившись в том, что возлюбленная замолчала, он начал заготовленный заранее тост. Не то чтобы он не ценил спонтанное выражение чувств, но красоту слова все-таки предпочитал экспромту, который всегда выходил неказистым.

Она смотрела на него пристально, как будто что-то хотела сказать, но вдруг поняла: не надо. Слушала ли она его? Он улыбался, смотрел в ее глаза, но они были так же неподвижны, как будто видели в этот момент что-то другое, да и сама она пребывала не здесь. «Вставай!» — громко и отчетливо произнес он, сам не поняв кому — то ли ей, лежащей без движения, то ли своему слабому и немощному телу, с которым было сложно смириться сильному мужчине, каким он всегда себя считал. Что-то проснулось в нем, какая-то неведомая для его лет, давно забытая мощь, и он не встал даже — резко вскочил с пола и сразу же прислонился к стене, чтобы не упасть. В голове что-то стрельнуло, потом снова, но слабее. Он увидел ее, лежащую на полу; зрение вернулось, старик вновь чувствовал себя живым, чувствовал силы стоять и двигаться, он пошевелил рукой, затем сделал шаг, еще один и еще — и вот он стоял, ни на что не опираясь. Он резко засмеялся, залившимся, громким смехом, на мгновение он забыл и о ней, и о пришедшем только что внезапно воспоминании, он смеялся от легкости, от того, что все не закончилось, от того, что он не умер на полу, и только в этот миг осознал, что в коридоре стало темно. Дневного света, проникавшего из кухни и незакрытой спальни, было достаточно, чтобы ориентироваться в пространстве — видеть предметы мебели и лежащего на полу человека, — но лампа, которую они не меняли, наверное, с самого въезда в эту квартиру, погасла. Теперь черный провод, свисавший с потолка, казался безжизненным и бесполезным. Старик нагнулся, посмотрел на нее пристально, затем присел на корточки возле нее — он уже не опасался, что не сможет встать, и взял ее за руку и принялся прощупывать пульс.

— Ты заменишь лампу? — спросил его слабый голос.

— Да замену, конечно, — устало ответил он. — Купим вон... в магазине, — и только сейчас до него начало доходить, что она очнулась, что ему не мерещится, что это действительно с ним говорит она. Он бросился с поцелуями к ее дряблой щеке, она повернулась и ответила ему тем же.

— Со мной все хорошо. Просто я старая, — серьезно сказала она. — Помоги мне встать.

Она, похоже, не знала или забыла, пролежав некоторое время без сознания, что он тоже падал, потому и не спрашивала его ни о чем. Старик проводил ее в ванную комнату, помог умыться, сходил к холодильнику, достал лед и приложил к виску. Так и сидел некоторое время.

— Спасибо, — говорила она. — Сейчас пойдем. Надо лампочку заменить.

— Да помню я, помню.

— А что еще? Посмотри, у нас хлеб есть, на кухне?

- Есть, был там.
- Вот славно. Погода как?
- Какая может быть погода? Никакой погоды. Ты что, не знаешь этот город? Пыль и дерьмо — вот тебе вся погода.
- Ну холодно там или нет? Дождь, может, собирается?
- Да ничего там не собирается, — ворчал он. — Давай вот, ты собирайся лучше.
- Деньги-то взял? — Нина Валентиновна посмотрела на него строго и пристально.
- Карту магазина не забудь. Сумку нашу.
- Ладно, ладно. — Он вышел из ванной.
- Ужас, — причитала она, глядя в зеркало, открывала какие-то баночки, набирала немного крема и мазала им лицо.

— Ужас, — шептал старик, глядя в окно. На часах была половина четвертого, он помнил, что сегодня должен был прийти журналист, но встречаться с ним почему-то не хотелось. С утра не покидало странное ощущение: очень хотелось побыть вдвоем, закутаться с женой в одеяло или пить чай и смотреть в окно, закрыться от всех и всего, смотреть друг на друга и, может быть, вспоминать что-то. Не то, что приходит против воли, а то, что так сладко вспомнить двоим — из тех давних дней, когда жизнь казалась чудесной. Но договор, как помнил старик из детства, дороже денег. Как отменить его? Сказать, что у них дела? Но какие дела могут быть у престарелой пары, кроме как сидеть дома и смотреть в окно? Не поверит. Пусть уж приходит. «Ужас», — повторил старик.

За окном столбом поднималась пыль, ветер трепал деревья, случайные люди старались закрыть лицо, отворачивались, ускоряли шаг, чтобы скорее попасть домой. Только трое мальчишек, на вид младших школьников, бегали по двору туда-сюда, словно и не было ветра. Они смеялись и кидались друг в друга листьями, останавливались, договаривались о чем-то, отчаянно жестикулируя, менялись ролями, и вот тот, кого преследовали только что, уже догонял бывшего преследователя и что-то кричал тому вдогонку. Игра приносила детям такую радость, чтобы если бы хлынул дождь, грянул гром и засверкали молнии, это не оторвало бы их от веселой беготни. Старик совсем не заметил, что Нина Валентиновна стоит рядом и тоже смотрит во двор.

- Пришла вот твоя... — не стала договаривать она, но, кажется, была довольна.
- «Ничего не болит, слава богу», — подумал про себя Семен Иванович.
- Человек приходит в этот мир с одним вопросом, — начал он. — Точнее, даже с двумя: где что есть и что здесь делать? Он занимает свое время, бесконечно ищет способы, как его провести. И уходит, так и не отыскав этих ответов. Делал что-то, возился, да и все. Не заметил, как время прошло. Главное — чем-то занять себя. А понять, как это все, почему здесь...
- Ну вот ты опять начинаешь.
- Чего начинаешь? — он повернулся к ней в недоумении.
- Заунывные речи свои.
- А чего ж они заунывные? Посмотри на детей: они рады. Они нашли себе не худшее занятие.
- Ну а ты как провел время? Ты рад?
- Я свое время занял тобой. Пусть и не всю жизнь и до нее что-то было, но мне сейчас, кажется, что всю. Я никогда не сожалел, что так сложилось. Да и не сложилось: мы сами сложили.
- Скоро твой подойдет? — она прислонилась к плечу старика и заглянула в его глаза. — А еще хотел встретить. Может, не придет? Ветром его сдует, а? — и она

улыбнулась игриво, как в незапамятные годы, когда, пользуясь любой свободной минуткой, они сразу бежали в постель.

Поход в магазин уже несколько лет был для них целым предприятием. Нуждались они в малом и потому ходили туда редко. Все необходимое умещалось в большой сумке, купленной в незапамятные времена. Ходили они медленно, но все же любая прогулка доставляла им несказанное удовольствие — как выход в большой мир, который, правда, заканчивался теперь автобусной остановкой. Ехать куда-то они не решались, да и не было никакого практического смысла, а ведь именно практический смысл стал в их возрасте определяющим в принятии каких-то решений. В подъезде она трогательно поправила ему потрепанный берет на голове, как в те годы, когда они выходили в свет: счастливая красавица беспокоилась о том, чтобы ее мужчина выглядел лучшим. «Ничего не изменилось, только наши тела постарели», — звенел в голове старика ее голос, и он грустно улыбался. «Чего?» — тревожно всматривалась она в улыбку. «Да ничего, ничего, пойдем».

Он взял ее за локоть, и они пошли. Привычка держать ее за локоть появилась в старости, но они никогда не придавали этому значения: влюбленные шли обнявшись, равные в новой семье — держась за руки, старики — поддерживая друг друга. Наверное, так и должно быть, иначе почему они не замечали? На нем были джинсовая, аккуратно выглаженная рубашка и темно-зеленые брюки, а также в крупную сеточку летние туфли какого-то непонятного цвета. Она шла в легком плаще цвета охры и шляпке с нелепым искусственным цветком. Их стиль мог назвать аккуратной бедностью встречный прохожий, решивший бросить на пару свой взгляд, но ощущали ли они сами, что бедны? Должно быть, да, и в разговорах это признавали, но если задумывались, то не находили ответа: на что бы им потребовались деньги? Вот так, чтоб вдруг и много?

Бросали на них взгляд многие: необычное в них действительно было — но не в одежде, не в поведении, да и не в них самих, наверное, а, видимо, в том спокойствии, которое выражала пара, в той стойкости, с которой встретила их любовь старость, молчаливом достоинстве и отрешенности от всего окружающего. В мире не было ничего, кроме них двоих, — это знали и она, и он, хоть и не произносили вслух, как часто делали тогда, в начале совместной жизни. Бросали взгляд романтически настроенные парочки, школьницы, одинокие пенсионеры и мужики «под пятьдесят», женщины, еще не нашедшие спутника жизни, молодые семьи с детьми. Они часто встречали на лицах прохожих улыбки, и Нина Валентиновна — иногда — улыбалась в ответ тем, кто ей тоже нравился.

Но случалось, что на них бросали и недобрые взгляды: сидевшие на лавках и металлических оградках детской площадки наркоманы или просто люди неопределенного возраста с тусклыми лицами, воняющие, как она говорила, «всеми вонями» мира. Другие, напротив, ничем не воняли, одеты были скромно, но взгляды их были тяжелы, порой они корчили рожи или демонстрировали одиноким прохожим агрессивные жесты. Иногда они набивались в подъезды, и старику, придерживая любимую, приходилось просить их расступиться, чтобы пройти, что они исполняли весьма неохотно и подолгу мрачно смотрели вслед. Однажды он пытался разнять драку, но чуть не оказался избитым сам и, сказав: «Бог с вами, ненормальные», отправился домой. Их район, хоть и не стоял на отшибе города, все же не считался благополучным. Дело в том, что не считался благополучным и весь город Тольятти. Но все же они жили здесь.

Возле магазина Нине Валентиновне вдруг стало плохо. «Не могу идти», — она остановилась отдышаться и прислонилась к стене возле входа в магазин. Голова ее

как-то неестественно тряслась, глаза долго смотрели вниз, а затем она закрыла их и продолжала так стоять, не говоря ничего. Прохожие подходили ближе, но видя, что старик рядом, не бросит ее, шли по своим делам. «Да что ж ты стоишь, дурень? Делай же что-нибудь», — пристала к Семену Ивановичу какая-то женщина. «Сейчас пройдет», — мягко ответил он. «Да что пройдет? Вызывай „скорую“!» — не могла уговорить ее. Нина Валентиновна с трудом подняла голову и открыла глаза, полные слез «Пройдет, — спокойно сказала она. — Идите, женщина». — «Ну, как знаете. Умные все такие».

— Не могу туда идти, — проговорила она. — Мне все чаще почему-то плохо... Не знаю, голова кружится и тошнит, почему так?

— Все уже прошло, — отвечал старик. — Давай просто зайдем туда. Купим, что надо, быстро.

— Нет, нет — она замахала руками. — Иди один. А я вот тут посижу.

— С тобой ничего не случится?

Они села на лавочку неподалеку от входа в магазин, сняла свою шляпку и начала обдывать себя ею, как веером.

— Все хорошо, — успокоила она. — Здесь так пахнет цветами. Что это за цветы?

Старик плохо разбирался в цветах. «Мой самый красивый цветок — ты», — говорил он ей. Они оба любили сирень и дарили друг другу веточки, но сейчас был не сезон. Старик ходил между рядами и думал вовсе не о запахе цветов. Он злился: «За что ей так? Она же такая сердечная, такая добрая, а какая была красивая». Набирая в тележку хлеб, помидоры и всякие крупы, он производил впечатление благодушного пенсионера, у которого все хорошо. Но это было не так. «А если я умру первым? — думал пенсионер. — Что же она делать будет? Кто будет успокаивать и говорить, что все в порядке? И делать вид, что так и есть, что это правда? Что я смогу сделать для нее еще? Только уйти после нее, это единственное, что осталось сделать».

— Что? — переспросила молоденькая девушка-кассир.

— А, — встрепенулся старик. — Ничего. Какую вы сумму назвали?

Выйдя на улицу, Семен Иванович обнаружил самое страшное, что только мог предположить, пока отсутствовал: ее не было на скамейке.

— Ты помнишь это? — спросил он.

— Как потерялась-то? Да. Я пошла за цветами. Они очень вкусно пахли. Запах цветов уведет на край цвета.

— Мы и так на краю света. Сколько я передумал тогда, — проворчал старик, отходя от окна. Он взял со стола металлический чайник, подошел к раковине и открыл кран. Шумно полилась вода. Она присела на табурет и смотрела то на него, то в окно.

— Цветы особенно пахнут сейчас, в старости. И особенно яркие цвета. Помнишь, мы думали, что все будет черно-белым.

— Это, знаешь ли, у кого как. Есть люди... — проговорил он, ставя чайник на огонь.

— Я говорю про нас с тобой. Какие еще люди?

— Я, конечно, надеюсь, что ты больше никогда не потеряешься, — сказал он со всей серьезностью, подсев к ней рядом. — Мы обещали друг другу никогда не теряться, ты должна помнить.

— Да как тут запомнишь. Тут скоро как меня зовут, и то — не вспомню.

— Это точно. Ты тогда и не вспомнила.

— Расскажи, как ты меня нашел.

— Я спросил у прохожих, у одного, второго — молодые стояли там, куда пошла

женщина. «Какая, — говорят, — женщина?» — «Красивая, — говорю. — Самая. Жена, говорю, моя». Они говорят: «Ах да, ну разве ж мы смотрим?» А один такой: «Старик, какая тебе жена, чего ты?» Да, люди, конечно, — он помолчал — Я обошел дворы, до остановки дошел, вот он, наш край света. Думаю, нет там тебя, значит, нужно дома искать. А потом думаю: дома? А почему ты пошла домой? Как? Зачем? Телефоны же зря не берем с собой, сколько тебе говорил. А ты все: мы вместе все время? Вместе, да вот не вместе.

— Так, ты ворчать будешь или рассказывать?

— А что там рассказывать? Просто ходил по дворам, думаю: не могла ж ты исчезнуть. Значит, заблудилась.

— А может, украли меня?

— Украли... Я тебя давным-давно украл. За кошкой какой пошла, может быть, ну или за цветами...

— За цветами пошла. Мне сказала одна женщина, там, на скамейке, что чудесные цветы растут в соседнем дворе. Она даже сказала, как они называются. Дай-ка вспомню. Ну они, правда же, красивые? Красные такие, огромные, а пахнут как!

— Красивые. Только когда я нашел тебя, ты плакала. Я подошел, а ты сидела на какой-то перевернутой выброшенной тумбе. В этих цветах, да. И плакала.

— Я заблудилась.

— Ты не сразу узнала меня даже. Так смотрела долго-долго, я уже думаю: что такое? Потом обняла. Ты говорила: я заблудилась, прости меня, мне очень страшно.

— Я посмотрела на цветы и пошла обратно. Думаю, как же так: ты ждешь, не опоздать бы. И пошла непонятно куда. Там был двор, еще один, потом еще один двор, и нигде не было того, с магазином. У меня голова кружится, как я вспоминаю эти дворы, и все — одинаковые. Ужас. Я не знаю, как бы я выбралась. В каком-то дворе я увидела снова цветы и вот... разрыдалась.

— А почему ты меня не узнала?

— В какой-то момент я вообще забыла про магазин и про то, что искала тебя, это было странное чувство: я вообще не понимала, где я и что происходит. Странный мир, в котором есть только то, что здесь и сейчас, вокруг меня. Я и вокруг. Я не помнила себя вообще, ни прошлого, ни будущего. Такое детское, знаешь? Помнишь, нам говорили, что старики как дети?

Он налил чай и снова подошел к окну, держа в руках кружку, от которой шел теплый пар.

— В этом странном мире может и потемнеть. Да и обязательно потемнеет. И ты останешься там одна, в цветах. И куда ты пойдешь?

— Это проходит. Потом все возвращается. Мне так страшно было, я не знала, что делать.

— Больше не отходи от меня. Будем теперь только вместе. Иначе зачем я тебе? Буду рассказывать, кто ты и где живешь.

— Хорошо, — улыбнулась она. — Ты мне чаю налил?

— Налю сейчас, — смутился старик. — Забыл.

Она рассмеялась:

— Ну ладно тебе, я сама налью. Чайник под рукой, не беспокойся.

— Шея болит, — пожаловался он. — Чего-то вошло уже в норму. Каждый день — одно и то же, просыпаешься,ходишь чуть-чуть — разболится, и так до самого вечера, пока не уснешь.

— Ну, ты гимнастику делаешь-то?

— Так, иногда. Да что мне эта гимнастика? Толку...

— Ну что за дела, — строго сказала она. — Так, быстро присядь.
— Ну чего ты? Чай вот допью.
— Допьешь, допьешь. Давай вот, усаживайся.
Она встала и приобняла его, настойчиво глядя в глаза:
— Вот тебе место освободила.
Старик присел, поставил чашку на стол и отчего-то даже улыбнулся.
— Готов, — сказал он.
Она взяла его за шею сзади, упираясь руками в подбородок:
— Сделай глубокий вдох. Так. — Старик вдохнул. — А теперь выдох.
На выдохе она начала тянуть голову старика на себя, прижимая к своей груди.
Ему было не очень приятно, но он терпел.
— Вдох, — говорила она. — Теперь выдох. Вдох и еще. Теперь выдох.
Постепенно боль если не прошла, то успокоилась. Семен Иванович прижал ее руку к своим губам и несколько раз поцеловал. Потом потянулся к чашке.
— А теперь сам, — сказала она. — Да не остынет твой чай, не беспокойся.
— Уже остыл.
— Делай, что говорю. Вытягивай шею.
Старик потянул голову вверх, не касаясь ее руками, напряжение в шейных позвонках возросло, затем он расслабился, и напряжение пропало. Сделав глубокий вдох, он снова принялся вытягивать шею.
— Так, молодец, молодец, — хвалила она. — Тянись к солнышку. Умничка, тянись к солнышку. Все у тебя перестанет болеть. Обязательно перестанет.
Она погладила старика по голове. За окном и впрямь появилось солнышко. Пробегавшая по своим делам туча исчезла, и теперь небо было ясным. И даже ветер успокоился, и песок не мело по всему двору. Наступила прекрасная погода, такая редкая для этого города.
— Ты молодец, — шептала она.

Журналист заявился позже намеченного, перед встречей успел где-то напиться и выглядел слишком помятым. Икая, полез с порога обниматься: «Ну как жизнь, старики?» — «Какие ж мы тебе старики? — изображала она возмущение. — Мы еще вон какие молодые! Сегодня зарядку делали». — «Ну вы какие молодцы!» — расплывался тот в отвратительной улыбке, выдающей сильное опьянение. Тем что Аркадий пришел пьяный, она была действительно возмущена. «Будь моя воля, он бы вообще перестал сюда хаживать», — шептала она на кухне, взяв его за руку. «Ну что теперь делать? Пусть уже посидит».

— Ты знаешь, мы спать с женой рано ложимся, — объяснял он, выходя в коридор.
— Ничего, ничего. Вот и вам я успел надоесть, — тараторил пьяный журналист, неуместно кивая головой.

— Ну а чего нахлестался-то? — спросил старик, когда они уже сидели в комнате, куда еле донесли вдвоем — один пьяный, другой слабосильный — раскладной стол. Теперь на нем стояла початая бутылка водки и была разложена скромная закуска вроде сыра, маринованных грибов и копченой колбасы. Журналист смотрел на него мутным взглядом, и в определенный момент старику показалось, что разговор в этот вечер вообще не получится. На госте была красная футболка с изображением неизвестного старику бородатого лица, какая-то цепь с непонятной фигурой, болтавшейся на ней, белые, но довольно грязные джинсы с заууженным низом, часы на ярко-оранжевом пластиковом ремешке. На носках отчетливо виднелась дыра, а пришел гость вообще в потрепанных черных кедах с кружочками и незатейливыми геометрическими фигурками. «Сорок лет мужику» — подумал про себя ста-

рик. — Человек творческой профессии». Нина Валентиновна и вовсе всегда смотрела на гостя всегда как на диковинного зверя, но любопытство начало сменяться безразличностью только в последние разы, когда журналист начал приходить пьяным.

— А, издержки профессии, — отмахнулся тот.

— Не в профессии дело, — возразил старик. — Хотя... Я потому и оставил вашу профессию, чтобы со всем этим не связываться.

— Врете, дядя, — обычно журналист не позволял себе панибратства, но тут понесло. — Вы, помню, говорили, что журналистика сама вас выставила вон.

— Ты меня ни хрена не слушаешь. А говорил, мол, опыту научиться какому-то хочешь. Бреешь, собутыльник тебе нужен. Впрочем, и мне иногда. Про твою журналистику я говорил тебе не раз: никакой журналистики нет. Точнее, есть, но это никакая не профессия.

— Ну, конечно, конечно, не профессия. Вы просто не добились ничегошеньки в ней. Вот и не профессия.

— Мил человек, а чего там можно добиться? Лбом об стену там можно добиться. Я приходил в первые редакции с таким воодушевлением, мне казалось, что я могу изменить мир. Мне казалось, что журналист — это такой человек, который делает мир лучше. Он видит то, чего не видят другие, и показывает это тем, кто почему-то этого не знает. Я думал, что для журналиста нет идеалов, кроме правды, и нет большего удовольствия, чем тексты и публикации. Но я увидел, что там такие же люди, как и те, которых я встречал на складах, в магазинах, в офисах — там, где приходилось работать в студенчестве. Только с гонором, а так ленивые и жадные. Все удовольствия — пожрать да поржать. Никому не интересна никакая правда, никто не хочет ни в чем копаться, что-то выяснять, никому ни до чего нет дела. Все отрабатывают свой маленький заказ: продвигают издание, повышают узнаваемость, быстрее других перепечатывают новости из информационных агентств. А в свободное время ржут друг над другом и над людьми, которые хоть что-то умеют делать.

— А журналисты, по-вашему, ничего не умеют делать?

— А что они умеют? Единственное, для чего нужен, по-моему, журналист — это помогать людям друг друга понимать. Все наши люди чудовищно разобщены, это сейчас я смотрю на все эти вещи как во двор с балкона, а тогда... Каждый человек формирует вокруг себя такой герметичный мирок, собирает людей близких взглядов, и они начинают молиться своим иконам, триндеть на свои бесконечные однообразные темы — лишь бы доказать, что я, мол, тоже в теме, я, мол, тоже понимаю, я тоже читал, тоже видел. Бесконечное, унылое топтание на месте. И ненависть к тем, кто не читал, не видел. Весь окружающий мир — за бортом. И я думал тогда, что журналист — человек, который должен строить мостики между этими людьми, между их замкнутыми группками. Потому что он знает все точки зрения, все мнения, все события, он видит всю картину целиком. И он понимает, что тот человек прав в этом, другой — еще в чем-нибудь, третий — в том, о чем первые двое даже не догадываются. И журналист помогает им слышать друг друга, а без этого нельзя двигаться вперед.

— Ах, милая моя, я не люблю тебя. Ты не умеешь двигаться вперед, — запел журналист.

— Ну, в общем, — старик замялся, но решил — раз уж начал — продолжить. — Там такие же люди, каждый варится в собственном соку и каждый тянет одеяло на себя. Живут банальной жизнью, глупыми интересами. Даром что журналисты. Кому и чем они помогли? Носятся с раздутым самомнением, с дешевым мирком и

набором банальностей, которые выдают за новизну и свежесть взгляда. Каждый уперся в свою точку зрения, в свой комплект представлений о жизни, каждый дышит ненавистью к людям. Непонимание и твердолобость, нежелание ничего менять, никого слышать. Такая журналистика меня, конечно, выставила вон. Но к тому моменту, когда она меня выставила, я уже скопил денег на малый бизнес и занялся им. Мы с женой открыли маленький ресторанчик и приносили пользу влюбленным парочкам, которые хотели где-то поговорить по душам, сказать друг другу главные слова. А вашей журналистике я сам сказал: катись бы она к черту. Они издеваются над любовью, потому что не знают, как любить, как это делается.

Журналист икал и косился на стопку: налили довольно давно, но старик разговорился. Воспользовавшись паузой, он взял стопку в руку:

— Вы напрасно. Чувство юмора — это лучшее чувство. Это самое вообще важное и ценное качество человека. Все можно простить, если есть чувство юмора, и как тяжело с человеком, если его нет.

— Да? — старик посмотрел на него пристально, затем взял стопку со стола, и не чокаясь, опрокинул. — И чем же оно ценное?

— Оно помогает людям выживать, — журналист не стал медлить и последовал примеру старика: опрокинул свою стопку и, поморщившись, откусил добрую половину огурца.

— Не надо, — сказал старик. — Не надо просто создавать вокруг себя такую атмосферу, чтобы приходилось выживать. Это самое простое решение, но почему-то никто не хочет его принимать. Особенно в вашей журналистской среде, где кипят склоки и каждый считает себя на ступень эволюции выше другого. Но этот террариум смешон: пока серьезные и молчаливые люди переделывают мир, вы занимаетесь своей игрушечной борьбой, карикатурным соревнованием — кто кого уделает, кто кого перешутит, переострословит. Вы забыли, что вы для людей, что вы — в помощь им. Вы все на свете забыли.

— Нет. Юмор помогает жить всем людям, просто он у каждого свой. Свой у офисного работника, у врача, у пожарного, у нас он такой.

— Я тоже люблю добрую шутку, мы любим с женой посмеяться, — он повернулся к Нине Валентиновне, и та ласково улыбнулась. — Если б еще не болели так... Но вообще если смотреть на мир здраво, а не сходить с ума, то чувство юмора не может быть главным. Человек приходит в этот мир не поржать. Жизнь — это не хиханьки-хаканьки, не шуточки, не подкольчики, понимаешь? И врач ржет над своим юмором, да. Но при этом он лечит! И понимает, что он в этом мире не для того, чтобы ржать. Он свое дело знает. И пожарный. Ты хороший пример привел. Ну а вы, журналисты, свое дело знаете? Вы забыли его.

— Вы философ просто, этим все и объясняется. Вы мыслите философски.

— Нет, философ — это Шопенгауэр, не знаю там, Сиоран. А я обычный старик, мне скоро умирать.

— Ну а зачем тогда человек приходит в мир?

— Работать. Все на свете есть работа: это не просто статейку там написал или какую-то бесполезную дрянь продал — самая бессмысленная из работ. Построить отношения — работа, сохранить отношения — работа, семья, дети — это тяжелый труд. Без него не было бы семей, не было бы таких, как мы, стариков. Проблема только одна: не все работают на своем месте.

— Это вы опять на меня намекаете?

— Нет, что ты, молодой человек, — на этих словах сорокалетний журналист ухмыльнулся. — Это я в общем. Вот, например, как должно быть в мире, и как в нем, наверное, было когда-то: человек хочет работать кузнецом — он приходит к кузнецу

и говорит: хочу быть твоим учеником, передай мне знания. И тот передает, потому что он служит делу, а дело должно продолжаться. Также строитель, химик какой-нибудь, астроном. Сейчас же мир устроен так, что кто угодно может получить какое угодно образование. Ну, гипотетически. Профессор отучил толпу неизвестных людей и удалился. И ему наплевать на дело — он ничему не служит, и толпе — они ничему не хотят служить. Врач может заработать? Пойду врачом. Юрист? Юристом. Каких-то непонятных специальностей выбрали. У них нет к этому тяги, их не влечет сила. А кто-то идет работать в офис менеджером, хотя хотел бы стать, например, писателем. А потому что выжить надо. Или грузчиком, а хотел бы стать театральным артистом. Потому что надо выживать, надо есть, пить, квартиры обустраивать — все не на своих местах. Вот что печально.

— Вы и сами, наверное, хотели быть писателем?

— Нет. Зачем мне? Не о чем писать. Да и какой прок от книжки? Напишу я ее, поставят ее на полку, подойдет красивая девушка, прочитает мою книжку, позвонит в издательство, узнает, как меня найти. Ну, это все, допустим, — старик закрыл глаза, представляя, — и пригласит на встречу. Мы встретимся с ней в кафешке, посидим, выпьем вина или кофе, и она признается мне в любви. А у меня уже есть любовь, — старик обернулся к жене, — мне ничего не надо. И уйдет эта девушка ни с чем. Так зачем мне писать было книжку?

— Ну вы романтик, дедушка, — рассмеялся журналист.

— К тому же зачем самому-то. Один обещал про меня написать, не помнишь кто? Вот где та статья, о которой ты говорил? Прочитаю ли я когда-нибудь, каким журналисты меня видят?

— Да говорил я вам, — гость замялся. — Редактор наш — человек такой: сам не знает никогда, чего хочет. Ну, была, когда я с ней работал. Говорит: историю любви надо, День семьи скоро, то да се. Сделаем тематический материал. Нужны пожилые пары, которые долго живут вместе. Ну, я же рассказывал все? Ну а там это, как она вас нашла, не знаю. Список дала, говорит: пройдишь, пообщайся.

— Ну да, а потом статья ей не понравилась.

— Да не статья ей не понравилась, а говорит: обычная история, банальная совсем. Ничего, говорит, фееричного, никаких эмоций.

— А может, статья ей не понравилась? — прищурился Семен Иванович.

— Да не статья ей не понравилась, жизнь ей ваша не понравилась, — возмутился гость.

— Жизнь не понравилась, — процедил старик. — А нам вот она понравилась. — И он снова повернулся он к жене. — Правда ведь?

— Правда, правда. Может, я чайку вам сделаю? А то хватит пить, время уже.

— Да ладно, — махнул рукой старик. — Еще водочки выпьем. Немножко. Человек вон историю нашей любви написать хотел, о как! Редактор не дала. Ну ничего, в Москве вон вообще тем таких нет: старики какие-то, пары семейные. Провинциальная журналистика. Что у вас, писать больше не о чем? — старик попытался изобразить возмущение.

— Ищем, — икнул журналист. — Работаем.

— Да. Вот и мы работали, — старик погрузился в воспоминания. — Тянули свой ресторанчик и потихоньку старели. Если бы не эти новые дурацкие законы... Да и сил нет уже, да и передать некому было. Тоскую я по нему... Вот продали, теперь отдыхаем.

— Небось не все денежки прокутили? — хитро спросил Аркадий.

— Мы ничего не кутили. — Семен Иванович не хотел рассказывать, что денег, полученных с продажи бизнеса, давно никаких нет, да и работали они в последнее

время в убыток. Из бывшего журналиста получился никакой бизнесмен. Которому повезло, что ресторан вообще удалось продать, с такими-то долгами, которые накопились к концу их деятельности. — Ну а ты-то на что скопил?

— Я, как говорит Лимонов, коплю нематериальное.

— Ты копишь себе цирроз печени и язву желудка. А это вещи, знаешь, еще какие материальные. Как материализуются, так средств не хватит их опять, — старик усмехнулся, — в область нематериального переводить. Подумай об этом.

— Подумай об этом, — устало и как-то неосознанно повторил журналист. По его виду можно было сказать, что человеку очень хотелось спать.

— Ну так, а где нахлестался-то? — спросил старик.

— На митинге был.

— А, — старик слышал, когда включал ненадолго ТВ на кухне, что сегодня в центре собирались человек тридцать, и вроде как всех разогнала полиция. Да, он мог бы и догадаться, что журналист там. В последнее время митинги проходили часто, чуть ли не каждую неделю, их то жестко разгоняли, то, наоборот, — давали выступить. Для маленького города это было непривычно. Когда бастовал АвтоВАЗ, выходили тысячи, но нынешние митинги никакого отношения к АвтоВАЗу не имели. Всегда приезжала толпа журналистов, которых было больше, чем самих митингующих, часто они сливались, и было не понять, где журналисты, а где протест.

— Ты понимаешь? — спрашивал старик, отрываясь от экрана.

— Нет, — говорила жена.

— Ну, так и что, на митингах теперь принято пить? Или по пьяни устраивать митинг?

— Напились мы после, — сказал журналист. — На митингах никто не пьет. Судьбу страны никто не решает пьяным.

— Так там судьбу страны решают, — удивился старик. — А я и не знал. Так, а чего они хотят, ты выяснил?

— Я уже говорил вам, дедушка. И хотят не они, а мы. Я не как журналист туда ходил. А сам по себе. Ну, в смысле как гражданин.

— Ну, тогда что вы хотите?

— Мы хотим изменений в стране. Мы хотим, чтоб началась нормальная жизнь. Чтобы тот, кто сидит у власти, не сидел там еще столько же лет, чтобы дали дорогу молодым, энергичным, чтобы светлые головы могли рулить государством, вместо этих мракобесов. Чтобы настал рассвет над страной. Чтобы шансон не звучал по радио, чтобы люди читали Канта, наконец. Чтобы люди учились жить, а не бесцельно сидели, уставившись в ящик. Чтобы те, кто чувствует себя человеком, кто умеет думать хоть сколько-нибудь, не были бы в этой стране презираемы. — Аркадий громко икнул. — Чтобы элитой общества была ее настоящая элита, а не эти... с мигалками. Чтобы полиция нас не трогала. Мы хотим собираться — и будем собираться. И никто нам не запретит. Никто, — он плеснул еще водки в стопку, но не рассчитал и залил стол. — Ой, извините. Ну вы же согласны со мной, все тут присутствующие? — с трудом выговорив последнее слово, он посмотрел на Семена Ивановича, на Нину Валентиновну, потом опять на Семена Ивановича.

Тот выждал паузу, подумав, что речь продолжится. Но этого не случилось.

— Так это что вы, все тридцать человек таких убеждений придерживаетесь?

— Какие тридцать? — не понял журналист.

— Ну а сколько вас, тридцать пять выходит? Или сорок? — спросил старик.

— В Москве выходят тысячи, десятки тысяч. Вы же там жили, должны это знать.

— Ну, там людей на порядок больше живет. Это капля в море. И даже с теми тридцатью, что здесь.

— Там их постоянно больше, — затараторил журналист. — Их больше с каждым днем, потому что люди просыпаются, люди хотят жить, хотят думать, хотят чувствовать. Там все больше людей, скоро так будет и здесь. Хватит спячки. Никто за нас не постоит, ну а Москва — это ж сердце, там все начинается.

— Хм, подожди, — остановил его старик. — Хочешь, я скажу, где сердце? Оно совсем не в Москве. Когда я еще жил там, мне тоже казалось — первое время, — что это сердце. Причем такое, которое «пламенный мотор». Но движение еще не подразумевает цели. Это может быть просто мельтешение, колебание. Как броуновское. Движение в Москве

— Оно у каждого свое, как и сама Москва у каждого своя. Но движение там вовсе не означает, что оно двигает весь организм. Движение есть, а организм стоит на месте. От этого движения устаешь. И, устав от него, я однажды пришел в православный храм и с тех пор ходил туда всю жизнь. Пока вот тяжело ходить не стало. Мы вместе даже иногда ходили, — он кивнул на жену.

— Ну, и к чему вы клоните?

— К тому, что сердце России — оно там. Оно не в одном каком-то месте, тем более таком, как наша Москва. Ему невозможно быть в одном месте, потому что наше сердце — это Бог. А Бог — он может быть только везде. И где бы ты ни зашел в храм, ты попадаешь в сердце.

— Молиться — это не для меня. Свободный человек не станет молиться. Если я перед кем и грешен, так только перед самим собой.

— А молиться не обязательно. Тебя никто не заставляет. Ты заходишь в храм — и тебе хорошо. Тебе светло, ты понимаешь, о чем речь? Тебе светло от присутствия Бога, от радости, которую он дарует тебе, от того, что живешь. И тебе хочется говорить, говорить перед иконой — но не просить для себя, а благодарить Бога. За жизнь на земле и за свет. И когда ты закроешь дверь храма, будь это в центре Москвы, и ты побежишь по своим делам, или в какой-то глухой деревне, морозным зимним вечером, когда тебе и идти больше некуда, ты понимаешь, что сердце России — это не какой-нибудь город, не какая-нибудь площадь, а это вот тот самый храм, в котором ты только что был. И крестишься, благодаря Бога за то, что побывал здесь. Да, православный храм.

— Я удивляюсь вам, дедушка, — пробормотал Аркадий. — Свободному человеку это не нужно, у свободного человека одно сердце — свое. И весь мир лежит перед ним: действуй! Мир ждет, чего решит свободный человек. Сердце России — это думающие, мыслящие и переживающие люди.

— Так, значит, не все люди такие? Не знал, — улыбнулся старик. — Ну а ты, свободно мыслящий, чего не заявишь никак миру о своем решении? А то он уже заждался.

— А у меня есть все, что мне нужно, — развел руками журналист. — К тому же мы живем в оккупированной стране, — он приблизился к уху старика, заставив того немного отодвинуться. — Законы не соблюдаются — раз, свободы слова нет — два, чиновники все захватили — три, — объяснил он на пальцах. — Нужна революция, — заключил журналист.

Старик откинулся на спинку стула и крепко задумался.

— Знаешь, — сказал он, — вот в этом городе, где сейчас твои тридцать человек задумали революцию, я вырос и провел молодость. Ну, некоторую ее часть. Я жил не здесь, конечно, этого района не было. Мы жили с родителями в центре, неподалеку от тех мест, где вы собираетесь, ну, если обогнуть пару улиц. Я помнил там каждый двор, каждый закуточек — знал все потайные ходы, как пролезть через какую-нибудь стену, как попасть в закрытый дворик, где какие тайны есть — ну, для

ребенка, конечно. Там росли всякие интересные деревья, какие-то низкие кусты с ягодками, названия которым я не знал. Там пахло жизнью, прелестью, молодостью. Потом, когда я жил уже в Москве, этот дом расселили — и бабушке досталась эта квартира здесь, а родители купили себе жилье в другом городе. И когда я приехал сюда, уже на старости...

— Когда мы вместе приехали, — поправила его она.

— Когда мы вместе приехали, я прошелся по тем улочкам детства, я заглянул во дворики, я увидел снова все старые лестницы, — казалось, он мог бы заплакать, но собрался и бодро продолжил: — Все деревья вырубili, половину лестницы, по которой я бегал ребенком, снесли к чертовой матери, моего дома не было уже — вместо него высился забор, такой, что невозможно было увидеть, что за ним построили. Уцелевшие старые дома выглядели так плохо... Их белые стены сияли в детстве, они так были красивы летом, если б ты видел! Сейчас они были почти разрушены. И все были исписаны — да так неумело — вот этим словом: революция, Revolution. Исписали лестницу, исписали асфальт — непонятно уже чем, да и ладно. Они хотят изменить что-то, а губят красоту? И тогда я понял, глядя на это все: революция — это то, что уничтожает мои любимые улицы, скверы, срубает деревья и закатывает их в асфальт, сносит аккуратные дома и исписывает все вокруг грязными, бездарными надписями. Вот такая она, революция. Она убивает мое детство. Поэтому я не хочу ее.

Взгляд гостя изменился: теперь он был как будто ошарашенным. Он словно протрезвел немного, слушая старика, и смотрел на него с непониманием и даже презрением.

— Мы за бескровную революцию. Мы ничего не собираемся убивать, — медленно проговорил он. — И тем более никого. Но так дальше жить нельзя. А такая позиция, как у вас, — это позиция закомплексованного, живущего в собственных воспоминаниях человека, боящегося сделать шаг вперед.

— Миленький мой, сколько мне лет? Какой шаг вперед? В моем случае шаг вперед — это шаг в могилу. А насчет закомплексованных, я вот что тебе скажу. Закомплексованным может быть тот, кто не хочет выставлять себя напоказ. Вот вы, все такие подчеркнута раскомплексованные, вы кичитесь этим: я как хочу, так и веду себя где угодно и с кем угодно, просто потому что я так хочу. Вы любите эпатаж, любите пафос, любите, как мне говорили часто, перформанс. Встречал я таких людей раньше, не тебя одного. Вот как ты одет: подчеркнута ярко, как ты ведешь себя: вызывающе ярко, что пишешь: какие-то яркие слова. А что, твоя жизнь яркая? А много ли яркости в тебе самом?

— А помнишь, как мы танцевали? — неожиданно вступила в их разговор Нина Валентиновна.

— Ну да, — улыбнулся старик.

— Мы были на каком-то мероприятии, где, в общем, народу было полно, — она ухватила Семена Ивановича за локоть, но смотрела на журналиста, так как рассказывала ему. — И там танцевали все, это было что-то по работе...

— Да, меня пригласили. Ну и жену заодно...

— И я выпила еще, а танцевать никогда не умела, да и в толпе такой как развернешься? Мы сидели за столом, у нас остался бокал вина и море вишневого сока, я помню, мы пили, обнимались и слушали.

— Мы закрыли глаза, — вспоминал старик, — и представляли, как мы танцуем. Как мы одни на берегу большого моря, нет, океана даже, и как вокруг только песок и волны, и нет никаких людей, и есть музыка. Этот танец был красивее их всех и чувственнее их, в нем была страсть, в нем было единение. В нем была вечность. И мы любили друг друга в этом безумном танце, мы растворялись друг в друге.

— Да уж, действительно безумный танец, — ословело смотрел на них журналист. — Сидя за столом на корпоративе.

— Ничего он не понимает, — устало проговорила Нина Валентиновна и поднялась из-за стола. Ладно, я, пожалуй, прилягу. — Она поцеловала старика в щеку и не торопясь пошла в другую комнату.

— Вы уж меня извините, — заводился Аркадий. — Но это и есть овощная позиция. Это овощи так рассуждают: пока вокруг идет большая жизнь, мы фантазируем, будто у нас все хорошо. Мы сидим, и ничего не делаем, и представляем, что у нас все лучше, чем у тех, кто что-то пытается делать. Мол, у нас чувств больше, мол, мы глубже. Потому мы не поднимем задницу со стула, а будем смотреть, как разваливается страна.

— Да я же не о стране, — сказал старик.

— А я о стране, — прикрикнул, сам испугавшись, журналист. — Я о стране. Сейчас нельзя думать о чем-то другом, совесть не позволяет. Сейчас все о стране, все мысли должны быть и действия. Нельзя быть разлагающимся овощем, который голосует за лидера нации этого, черт бы его побрал, вашего. Нельзя возле телевизора жизнь просиживать да детство свое вспоминать. Нельзя быть такими же овощами, как эти... — он судорожно подбирал слова, — как это быдло.

— Ну, что еще нельзя? Расскажи мне, — спросил старик, вставая из-за стола.

— Нельзя так наплевательски относиться к будущему страны. Это и ваша страна, и вам тоже в ней жить. Неужели вам все равно? Ведь вы не даете нам взять власть, в частности, вы.

— Вы дети, которые никогда не повзрослеют. Какая вам к черту власть? Обождетесь, — мрачно сказал старик. — А мы вот с женой, почему мы должны быть с вами? — Он настойчиво указывал журналисту на дверь и часы, тот хлопнул последнюю рюмку, встал и, пошатываясь, отправился в коридор. — Вы нас считаете за овощей. Мы для вас никто, и наше детство, и наша любовь, и наши заботы — этого всего для вас нет. Вы не знаете, что мы существуем. Да, мы живем друг другом, друг для друга и всю жизнь прожили так. Кто еще проживет для нас, ты? Для нее проживешь ты? — он указал на дверь, где жена хлопотала над кроватью. — Или ваши митинги, или ваши молодые, сверкающие улыбками кандидаты? Они плюют в нас, хамят нам. У нас своя жизнь, а вы не признаете наше право на нее, не считаетесь с нами. О чем может быть разговор?

— Ну вы же нормальные вроде люди, — бормотал журналист, натягивая кеды. — Разве вас не унижает, как вы живете, что делается вокруг? Как вас это может устраивать? Никаких прав человека, никакой свободы слова...

— Какая свобода слова? — пожал плечами старик. — У меня никто ничего не отнимает. Все, что я хотел говорить, я всегда говорил. Всю жизнь.

— Тогда и я вам скажу, на прощание, — собрался с мыслями Аркадий. — Вы дураки. Хотя и образцовая семья. Заслуженные люди! Не знаю, где редактор откопала вас, динозавров! Я общался с вами как с равными, как с нормальными людьми. Любовь у них. Ничего вы не нажили, а главное — мозгов. Вот вы говорили, что проблема в том, что не все на своем месте? Нет, главная проблема в том, что в стране таких людей полно, как вы. Пока есть вы, не будет никаких перемен. Но ничего, ночь пройдет, — журналист усмехнулся, махнул рукой и вышел в подъезд.

Старик смотрел на него, ищущего кнопку лифта. «Не уснул бы тут, в подъезде», — промелькнула мысль.

— Тебе сорок лет, и ты никому не нужен, кроме пригревших тебя одиноких стариков. Тебе и нужны перемены — нам нет.

Журналист не смотрел на него.

— Ночь пройдет, наступит утро ясное, — разгоряченный, пел он. — Солнце взойдет-оо-т.

Старик закрыл дверь.

— Зачем он нас обидел? — спросила Нина Валентиновна. Они лежали в полутьме, светила луна. Семен Иванович оставил дверь в комнату приоткрытой, и было слышно, как кто-то за стеной пытается играть на скрипке.

— Мы уже не раз так говорили. Просто ты спала — сказал старик. — Он никого не обижает. Ну, думает так человек, пусть думает. Лишь бы не повесился.

Скрипка за стеной издала особенно протяжный звук, а затем полилась грустная мелодия. Старик посмотрел на часы: без двадцати одиннадцать.

— Тебе нравится эта мелодия? — зачем-то спросила жена, кивнув в сторону двери.

— Мне не нравится, что она так поздно играет, — ответил он. — Мне, как любому старику, хочется покоя.

— Это точно. Тем более после такого беспокойного гостя. Но красивая же мелодия. Пусть и спать не дает. Играет здорово. Скажи?

— Ты знаешь, — он повернулся к ней, и теперь они лежали нос к носу. — Это все глупости, но ты не думай об этом. Там живет девочка, лет десяти, ее мама все этой скрипкой мучает. Я их пару раз видел, когда без тебя ходил. И играть она совсем не умеет, да и не научится никогда. Потому что не хочет.

— Ну и ладно. Важно ведь не как, а что. Правильно? Если мне нравится, как она играет, значит, это не зря?

Звук скрипки то прерывался — были слышны чьи-то голоса, — то с новой силой возникал, первое время даже громче, потом затихал, и его было еле слышно.

— Спи, — он погладил ее по щеке и укрыл одеялом. — Милая моя, дорогая.

— «Живем мы хорошо, — вспомнил старик отчего-то, как рассказывал журналисту во время их первой встречи, еще за чашкой чая. Тот сидел с блокнотом и аккуратно записывал, трезвый еще. — Мы довольны своей жизнью и наслаждаемся ею. Наверное, потому что все, что надо, у нас есть. Вот только... Если б дочь не присылала деньги, наверное, было б трудно. Подумай сам: пенсий наших, вместе взятых, хватает вот чтобы квартиру оплатить, ну, и на скромную еду. А если лекарства нужно купить, то уже тяжело. Плохо, что у нас так старики живут. Посмотришь на такую жизнь и думаешь: где справедливость?»

— Ну, справедливость — вообще сложное философское понятие, его можно интерпретировать по-разному, — заключил журналист. — Все зависит от угла зрения. Никто ведь еще не придумал универсального определения справедливости.

— Нет, — покачал головой старик. — Справедливость — это вполне конкретный термин. И у него может быть только одно значение, все остальное — ложь, чтобы прикрыть несправедливость. Вот нам с женой показывают по телевизору: выходят с цветными флагами, гримасничают на улицах — чего хотят? Оказывается, ориентация у них другая. Требуют защитить, требуют признать. Ну да, может, где-то их и ущемляют, возможно такое, конечно. Но они не умирают с голода, не умирают от того, что к ним не приезжает «скорая». Мы сколько прожили, ни одного гея не видели, ну вот сложилось так, а стариков, считающих копейки возле хлебного прилавка, видим каждый день. Проблемы нужно решать последовательно, — заключил старик. — Ты заходи к нам в гости, ты парень интересный, я расскажу тебе еще про справедливость.

— Ну ты и мразь, — внезапно процедил Семен Иванович и испугался, взглянул на жену. Она уже крепко спала, положив руку под подушку, и, конечно, не слышала его слов. Не услышала она и странный шум из коридора, который привлек внимание и насторожил старика. Как будто кто-то тихо открыл дверь, стараясь быть незаметным, а потом столь же тихо прикрыл ее за собой. «Померещилось? — с тревогой подумал старик. — Надо бы встать, глянуть». Он присел на кровать и стал елозить босой ногой по полу, нащупывая тапки. И тут отчетливо понял: в квартире кто-то есть. Неведомый гость уже не скрывал своего присутствия: раздался топот шагов, кто-то прошел на кухню и так же резко вернулся. Сердце старика бешено заколотилось, он поднялся и чуть не упал снова: голова кружилась, слабость не давала сделать шаг.

— Давай туда, — раздался гулкий голос в коридоре, и немедленно ответил каким-то нечленораздельным звуком, междометием второй голос:

— Их там двое.

Старик мельком взглянул на спящую: она ничего не слышала, лишь размеренно дышала. Собрав все силы, он ринулся в коридор.

— Не работает, твою мать, — раздалась громкая ругань, а затем еще несколько грязных слов.

Старик увидел человека, шелкающего выключателем, а рядом с ним еще одного, уже заметившего его появление. «Так и забыл купить лампу», — подумал старик. Надвигавшегося на него человека он не успел разглядеть. В темноте было непонятно, как выглядели внезапные гости, во что они были одеты. Он ощутил резкий удар в живот и, начав сгибаться, в голову каким-то тяжелым металлическим предметом. Старик упал на колени, и нападавший скользнул мимо него в комнату. Второй, проходя, ударил его ногой в лицо, затем еще раз, и старик упал на пол.

— Туда, — указал первый голос из спальни, и второй человек прошел в зал. Борясь с наступавшим на него мраком, Семен Иванович услышал, как открываются ящики, шкафы, вываливаются вещи. В зале с грохотом разбилась ваза, и только после этого проснулась Нина.

— Вы кто? — спросила она.

Старик вскочил, опираясь на тумбу, и, шатаясь, пошел в сторону спальни. Он понял, что ничего не видит, и еще что его сейчас вырвет. На пороге в спальню это и случилось. Вместе со рвотой из глаз хлынули слезы. «Грабители», — подумал он.

Человек схватил нож, отчего-то лежавший на трюмо, рядом с тремя тысячами рублей — всеми деньгами, что были в квартире, — приблизился к ней и несколько раз ударил. Старик увидел, как хлынула кровь, но ему, согнутому пополам, было не преодолеть свое состояние, он упал и снова попытался встать. Она окрикнула его по имени — два раза, отчаянно, громко.

— Миленький, спаси меня, пожалуйста, — прокричала она.

Грабитель схватил ее за волосы, и несколько резких ударов ножом, последовавших за этим, успокоили ее окончательно. Она свалилась с кровати, издав неестественное и страшное хрипение, и старик закричал нечеловеческим голосом.

— Где деньги? — услышал он голос за своей спиной и только сейчас понял, что к горлу приставлен нож, а самого его держат крепкие объятия, из которых уже никогда не получится выбраться. Он не понимал вопроса, он не знал, что ответить этому голосу, и не мог ничего ответить — после крика уже не было сил, да и добавить к нему было нечего. Темнота поглотила его, и не было ни кровати, ни мертвого тела жены, ни окна с едва различимой за мутными облаками бледной луной. Потом стало очень больно, и никакое движение уже не представлялось возможным. Он еще слышал какие-то голоса, шумы, но они становились все дальше

и дальше, а там, где лежал он, лишь становилось горячо и липко, но нельзя было выбраться из этого, можно было только закрыть глаза.

— Ну, и неужели вы ничего не слышали в тот вечер? — аккуратный молодой следователь сидел за белоснежным столом в светлой комнате и смотрел в глаза красивой, немного усталой и оттого казавшейся печальной блондинке. «А он интересный, — подумала она и бросила взгляд на его руку. — Кольца нет».

— Вы знаете, мы ничего не слышали. У нас девочка играла на скрипке. Машенька, — крикнула она, — иди познакомься с дядей. А вы, знаете что, — улыбнулась она, — не желаете кофе?